






ОГОНЁК
№ 48 НОЯБРЬ 1969
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»






22

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В ДЕРЕВНЕ—ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСТВА К СЧАСТЬЮ, ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

«III Всесоюзный съезд колхозников собрался в знаменательные дни, когда вся наша страна и все прогрессивное человечество готовятся к 100-летию со дня рождения великого вождя и учителя — Владимира Ильича Ленина.

Никто так глубоко не понимал интересы и чаяния трудового крестьянства, как В. И. Ленин; он видел в крестьянстве надежного союзника рабочего класса в борьбе за свержение капитализма и построение социализма.

Трудящееся крестьянство Страны Советов, преданное ленинским идеям, показало всему миру, что оно боевой, непоколебимый союзник рабочего класса. Плечом к плечу с рабочими советское крестьянство преобразовывало страну, укрепляло, защищало социализм и ныне строит коммунистическое общество.

Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Третьем Всесоюзном съезде колхозников 25 ноября 1969 года.

Делегаты III Всесоюзного съезда колхозников в кабинете В. И. Ленина в Кремле.

Фото Дм. Бальтерманца.



Основан 1 апреля 1923 года

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 48 (2213)

29 НОЯБРЯ 1969

ВСЕСОЮЗНЫЙ СХОД КОЛХ



Выступает Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

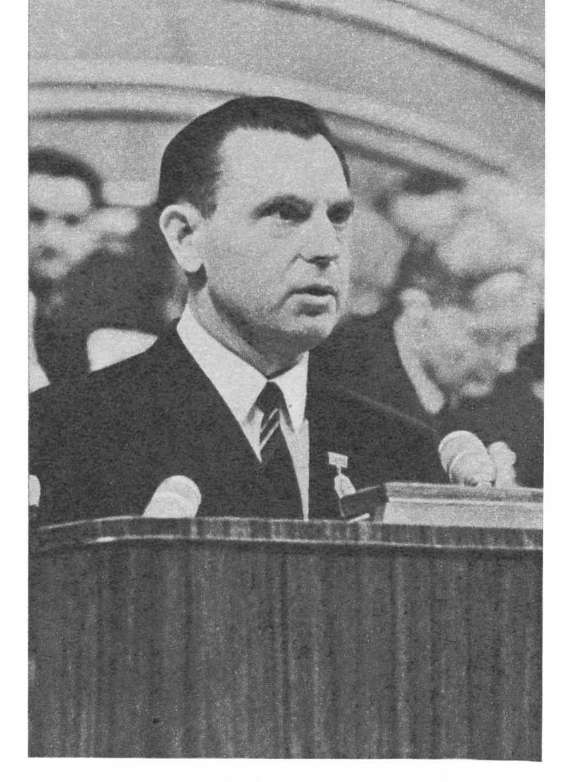
Н. БЫКОВ, А. ГОСТЕВ,
специальные корреспонденты «Огонька»

Тысячи посланцев колхозного села на долгие годы сохранят в памяти события этих нескольких дней — последних дней ноября 1969 года. В прекраснейшем из Дворцов Москвы собрались делегаты III Всесоюзного съезда колхозников. Едва рассвело, когда к Троицким воротам Московского Кремля стали подходить лучшие люди сел, станиц, аулов... Задолго до открытия съезда в беломраморных фойе Дворца съездов встречались друзья, передовики отечественных нив и ферм. У сотен из них на груди золото орденов и медалей. Среди восклицаний, дружеских приветствий слышны разговоры о хлебе, погоде, надоях, о видах на урожай следующего года. Вот репортеры окружили молодую женщину, знаменитую Турсуной Ахунову, лауреата Ленинской премии, механизатора и заведующую участком колхоза имени Кирова, Ташкентской области. О чем-то оживленно говорят председатели колхозов Герои Социалистического Труда Илья Абрамович Егудин и Александр Григорьевич Бузницкий. По праву пионерами новой, социалистической деревни можно назвать делегата всех трех съездов колхозников, дважды

25 ноября 1969 года. Москва. Кремлевский Дворец съездов. Президиум III Всесоюзного съезда колхозников.

ОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА

В зале заседаний.



С докладом «О новом Примерном Уставе колхоза» выступил член Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР товарищ Д. С. Полянский.

Героя Социалистического Труда Макара Анисимовича Посмитного, ветерана колхозного движения из колхоза «Коммунистический маяк», Героя Социалистического Труда Андрея Васильевича Чухно, телятницу из Тамбовской области Раису Ивановну Губанову, экономиста колхоза имени Кирова азербайджанку Телли Алиеву, тракториста Абдулакима Алимова из Таджикистана, кузнеца хмельницкого колхоза имени Островского Игната Леонтьевича Прокопчука, тувинца Александра Шаалы, доярку из Латвии Сильвию Карловну Гредзену... Их 4 521 — делегатов Третьего колхозного!..

10 часов утра, 25 ноября. Словно полевой ветер — гул в зале. Но вот все встают, делегаты и гости тепло встречают товарищей Л. И. Брежнева, Г. И. Воронова, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорного, Д. С. Полянского, М. А. Суслова, А. Н. Шелепина, П. Е. Шелеста.

Съезд открыл Герой Социалистического Труда Терентий Семенович Мальцев. Кто не знает в нашей стране полевода колхоза «Заветы Ленина», Курганской области? Пахарь, ученый, революционер зауральского земледелия, его слово — о великом счастье работать на просторах отечественной нивы.

На утреннем заседании председательствовал товарищ А. Н. Косыгин — член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР. Он сообщил съезду, что в качестве гостей на съезд прибыли делегации из зарубежных стран. От имени делегатов съезда товарищ А. Н. Косыгин сердечно приветствовал зарубежные делегации.

Повестка дня съезда — «О новом Примерном Уставе колхоза».

С большой речью на съезде выступил встреченный бурными аплодисментами Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. Товарищ Л. И. Брежнев зачитал приветствие съезду от Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

С докладом «О новом Примерном Уставе колхоза» выступил член Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР товарищ Д. С. Полянский.

А потом говорили делегаты — труженики наших полей и ферм, председатели колхозов, партийные и советские работники, механизаторы и животноводы. Шел разговор о земле, о том, как лучше на ней хозяйствовать, как лучше использовать технику, как еще больше увеличить производство зерна, мяса, молока, хлопка. Шел разговор о могучей силе союза Серпа и Молота, о новом законе колхозной жизни.













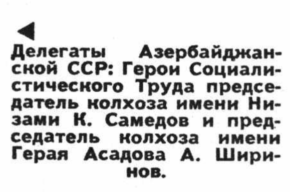
◀ Делегаты Смоленской области в гостях у рабочих Автозавода имени Лихачева.





▶ Делегаты Куйбышевской области: секретарь партийной организации колхоза имени Жданова А. Аринин и Герои Социалистического Труда заведующий механическими мастерскими колхоза «Луч Ильича» А. Ячевский, комбайнер колхоза «Большекаменский» В. Святкин, председатель колхоза «Победа» С. Жданов.





◀ Делегаты Азербайджанской ССР: Герои Социалистического Труда председатель колхоза имени Низами К. Самедов и председатель колхоза имени Герая Асадова А. Ширинов.





▶ Герой Социалистического Труда бригадир колхоза имени Дзержинского, Таджикской ССР, У. Кахорова, доярка колхоза имени Кирова, Винницкой области, О. Мельник, Герой Социалистического Труда председатель колхоза «Коммунист», Винницкой области, М. Подгородецкий, колхозница Р. Гулосовой из памирского колхоза «Аскари Сурх», главный инженер колхоза «Совет», Костромской области, В. Хренов.

ВО ИМЯ МИРА

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия.

На заседании Президиума, проходившего под председательством Н. В. Подгорного, присутствовали Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, а также заместители Председателя и члены Президиума Верховного Совета СССР.

В заседании участвовали Председатель Совета Союза И. В. Спиридонов и Председатель Совета Национальностей Ю. И. Палецкис, председатели Комиссий по иностранным делам палат Верховного Совета СССР М. А. Суслов и Б. Н. Пономарев, министры и руководители центральных ведомств.

От имени Советского правительства выступил министр иностранных дел СССР А. А. Громыко. Он заявил, что заключение Договора о нераспространении ядерного оружия имеет большое международное значение.

Широкая поддержка Договора о нераспространении выражает готовность народов мира объединить усилия в интересах предотвращения опасности ядерной войны.

Председатель Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС М. А. Суслов в своем выступлении отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия полностью не разрешит всех проблем предотвращения ядерной войны. Но он, несомненно, помогает ослабить угрозу такой войны, является важным шагом на пути к сохранению мира, а также окажет положительное влияние на ослабление гонки ядерных вооружений и смягчение международной напряженности.

На снимке: Договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован!

Фото Н. Ситникова (ТАСС).



«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА

Именно такое название получил полет американского космического корабля «Аполлон-12». Стартовав 14 ноября и совершив более чем десятисуточный полет с посадкой и выходом двух космонавтов на поверхность Луны, корабль приводнился в Тихом океане.

...И вот снова покачивается на волнах опустившаяся на парашюте капсула с экипажем. С борта встречающего авианосца поднимаются вертолеты, и через полчаса улыбающиеся Чарльз Конрад, Ричард Гордон и Алан Бин, ощущая наконец полновесное притяжение своей планеты, ступают на палубу и скрываются за дверью карантинного фургона.

История возникновения и развития программы «Аполлон» насчитывает около девяти лет.

Для осуществления полета на Луну американцы реализовали несколько программ исследований и среди них «Меркурий» и «Джемини». Но подлинного размаха достигли работы по программе кораблей «Аполлон». Для сравнения можно привести цифры затрат. Если обеспечение шести полетов кораблей «Меркурий» и десяти полетов «Джемини» потребовало 1 миллиарда 675 миллионов долларов, то разработка программы «Аполлон», включая полет на Луну, обошлась США в 24 миллиарда долларов.

Со времени полета корабля «Аполлон-11» прошло четыре месяца. Подведены предварительные итоги, получены интереснейшие результаты изучения образцов лунного грунта, появились новые гипотезы и предположения. Уже первые исследования лунных камней показали их большое сходство с породами, обнаруженными на Земле вблизи старых вулканов, таким образом, подтверждена гипотеза вулканического происхождения вещества Луны. И вот совсем недавно, в начале ноября, окончательно установлен возраст лунных камней — 4,6 миллиарда лет, в то время, как наибольший возраст вещества Земли 3,3 миллиарда. Известный американский ученый доктор Гарольд Юри заявил, что это подтверждает его гипотезу об образовании Луны в отдаленных от Земли областях солнечной системы и о разных путях образования этих двух небесных тел.

Большой интерес ученых вызвали результаты анализа структуры лунной пыли. К удивлению исследователей, в ней в большом количестве обнаружены мелкие стеклянные частицы округлой формы. Как выразился Поль Гаст, ученый из Колумбийского университета, «на Луне происходит что-то, сильно отличающееся от того, что происходит на Земле». По его предположению, лунное вещество испаряется при бомбардировке метеоритами и в виде стеклянных капель падает обратно на поверхность.

В лунном веществе найдены известные земные элементы — титан, хром, кремний, алюминий, железо и многие другие. Но вот золота, серебра и платины обнаружить не удалось. Нет в привезенных образцах также воды и органических соединений. Эти факты один из видных деятелей НАСА прокомментировал так: «Да, жизнь на Луне была бы очень трудной».

При спектроскопическом анализе образцов в них обнаружены водород, гелий, неон и другие газы. Выяснилось, что в глубине Луны содержание газов значительно меньше, чем в поверхностном грунте.

Как известно, Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин поставили на поверхности Луны сейсмометр, он фиксировал даже шаги космонавтов, а впоследствии в течение двух недель зарегистрировал несколько сотрясений и оползней. Правда, его показания подверглись сомнению из-за вероятного воздействия струи двигателя при старте с Луны. Полагают, что лишь одно из зафиксированных сейсмометром сотрясений, имевшее место еще до старта взлетной ступени лунной кабины, следует считать достоверным. Поэтому было решено в следующем полете расставить комплект приборов на расстоянии порядка 100 метров от лунной кабины.

Самым ценным, по мнению специалистов, результатом полета «Аполлона-11» был сам факт, что на Луне можно активно работать. Именно этот вывод стал определяющим при решении судьбы дальнейших полетов на Луну.

Сейчас, когда полет «Аполлона-12» позади и основные этапы его хорошо известны, вспоминаются некоторые детали, сопровождавшие лунную экспедицию.

Все было готово к старту, когда разразилась не обещанная синоптиками гроза. Времени оставалось каких-нибудь полчаса, а небо не сулило ничего хорошего. За десять минут до старта все-таки было принято решение: полет не отменять. Едва оторвавшись от Земли, ракета с «Аполлоном-12» скрылась в тяжелых тучах.

И вдруг на 36-й секунде появились помехи в линии связи с кораблем и сбои в телеметрии. Что-то произошло. Вскоре связь восстановилась, и астронавты сообщили, что они наблюдали в непосредственной близости от корабля вспышки молнии и слышали оглушительный треск...

Много позже, после возвращения с поверхности Луны, при стыковке с основным блоком астронавты заметили на его корпусе обожженные места. Сомнений быть не могло — удар молнии. Так проводила их Земля. Можно представить себе, чего могло стоить столь «молниеносное» решение руководителей полета. Нужно добавить, что все члены экипажа сохранили в этот напряженный момент завидное хладнокровие.

Дальнейший полет протекал без особых осложнений. С Земли на «Аполлон» передавали приветы от близких, спортивные репортажи, хронику Хьюстона. Интересно, что астронавты просили не передавать им политических новостей. Как ни удивительно, в Америке наблюдалось заметное падение интереса к полету. Уже на третий день его на очередной пресс-конференции в Хьюстоне присутствовало всего четыре журналиста, в то время как при первой лунной экспедиции ежедневно до 3 тысяч журналистов осаждали пресс-бюро. Американцы считают нынешний полет чем-то «обыденным и уже виденным». Почти никто в США не следил за посадкой на Луну, происходившей ночью. Дело дошло до того, что на телевидение посыпались многочисленные протесты в связи с отменой из-за полета ранее запланированных передач.

...И вот нога третьего землянина отпечатала глубокий след на лунной поверхности. Через полчаса после Конрада вышел Бин. На Луне установлены приборы: сейсмометр, спектрометр для исследования солнечной плазмы, магнитометр, детектор ионов, прибор для измерения давления, а также радиоизотопная энергетическая установка. Полагают, что этот комплект приборов должен работать на Луне полтора-два года. Кроме того, был развернут лист алюминиевой фольги — ловушка атомов инертных газов, содержащихся в солнечном ветре.

В месте посадки корабля «Аполлон-12» слой пыли оказался значительно толще, чем в точке прилунения его предшественника. При ходьбе ноги астронавтов сильно увязали. Пыль покрывала скафандры и приборы. Передвигаться было трудно. Один раз Конрад даже упал, но поднялся сам, и довольно легко. Собирая образцы грунта, один астронавт наклонялся, а другой страховал его, держал за лямку. И все же Бин и Конрад, оценивая свое физическое состояние и работоспособность, отметили, что у них руки уставали значительно больше, чем ноги.

Первый рейд по Луне оказался для Конрада и Бина весьма изнурительным. По графику они должны были отдыхать в кабине, и Бин сказал, что быстро уснет, несмотря на сомнительные удобства гамака. Он действительно быстро уснул, как, впрочем, и его товарищ, их даже пришлось будить.

Во время второго выхода на Луну предстояла встреча с «Сервейором». Астронавты запаслись ножницами, слесарными инструментами и девятиметровым тросом. Все сложили в рюкзак за спиной Конрада. У каждого были фотоаппарат и сумка для сбора образцов грунта.

«Сервейор» находился на противоположной стороне кратера, в 45 метрах от его края и примерно в 180 метрах от лунной кабины. Астронавты обошли кратер по гребню и затем, по-альпинистски связавшись тросом, начали спуск.

Крутизна склона кратера была не более 15 градусов, грунт был мягче, но не глубже, чем ранее. И вот Бин и Конрад достигли «Сервейора». Траншеи, прорытые ковшом «Сервейора», остались без изменений в том же виде, в

«СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ» — 40 ЛЕТ

...Был конец 1929 года. Утром 6 ноября в руках читателей оказались страницы новой газеты. Она называлась «Рабочий и искусство».

Семьдесят третий номер газеты, который вышел в 1931 году, назывался уже «Советское искусство». Значительно расширился круг тем, появились новые авторы. Демьян Бедный и Александр Фадеев, Борис Щукин и Николай Хмелев, Александр Довженко и Дзига Вертов, Михаил Нестеров и Вера Мухина, Сергей Прокофьев и Борис Асафьев говорили с читателями о насущнейших проблемах советского искусства.

«Советская культура» — третье название газеты. Орган Министерства культуры и Центрального комитета профсоюза работников культуры начал выходить в 1953 году. Огромная армия деятелей искусства, культурно-просветительных работников, библиотекарей, киномехаников, полиграфистов, сотрудников радио и телевидения принимает самое активное участие в работе газеты. Важнейшая ее задача — всемерная борьба за партийность многонационального советского искусства, его дальнейшее развитие по пути социалистического реализма.

Биография газеты — это отражение славного пути нашей советской культуры за последние четыре десятилетия.

Новых успехов «Советской культуре»!



На снимке: Колонный зал Дома Союзов. Торжественный вечер, посвященный юбилею газеты «Советская культура».

Фото Л. Шерстенникова.



ЦВЕТУЩИЙ ВОЗРАСТ «ЯВЫ»

Одному из крупнейших предприятий Чехословакии — мотоциклетному заводу «Ява» — исполнилось сорок лет. Конечно, для завода возраст не так уж велик, но популярностью он может соперничать с любым старейшим предприятием. В 1929 году была выпущена первая тысяча мотоциклов «Ява», а теперь их сходит с конвейеров до 100 тысяч в год.

На пресс-конференции, в посольстве ЧССР в Москве, старейший конструктор мотоциклов Йозеф Йозиф сказал: — главное в «Яве» — это техническое совершенство машины: ее ходовые качества, выносливость и, конечно, внешний вид.

Вот уже двадцать лет чехословацкие мотоциклы «Ява» и «ЧЗ» поставляются на рынки всего мира. 58 стран покупают тысячи этих машин. Только в Советском Союзе к концу этого года их будет около 600 тысяч.

— Сейчас мы поставляем в СССР «Ява-90»,— сообщил журналистам Генеральный директор чехословацкого Внешнеторгового объединения «Мотоков» Ярослав Прохазка.— По новому соглашению, еще 50 тысяч таких мотоциклов будет поставлено в СССР. Кроме того, наши спортивные мотоциклы начинают завоевывать популярность у советских спортсменов.

ЛУНУ»

каком их 2,5 года назад передала на Землю телевизионная камера. Астронавты подробно осмотрели космический аппарат, сфотографировали площадку, не забыв снять и друг друга. При этом Конрад попросил Бина улыбнуться (вы представляете себе эту улыбку из скафандра с его массивным шлемом и опущенным непроницаемым солнцезащитным забралом).

Затем астронавты отрезали кусок кабеля, сняли телекамеру, кусок стеклянной облицовки, демонтировали ковш-захват. Была также снята алюминиевая трубка с помещенными в нее перед стартом «Сервейора» с Земли в 1967 году микроорганизмами. Нет необходимости добавлять, насколько интересным и ценным окажется их изучение в лабораториях на Земле.

При втором выходе астронавтов на Луну Солнце поднялось немного выше, стало жарче. «Мечтаю о глотке ледяной воды,— сказал Бин,— конструкторы должны позаботиться о том, чтобы в скафандрах можно было пить».

Всего за время пребывания на Луне астронавты прошли 3,3 километра. Собрано около 45 килограммов лунного грунта. По свидетельству Бина и Конрада, найдены некоторые, нетипичные по сегодняшним представлениям образцы, похожие на гранит.

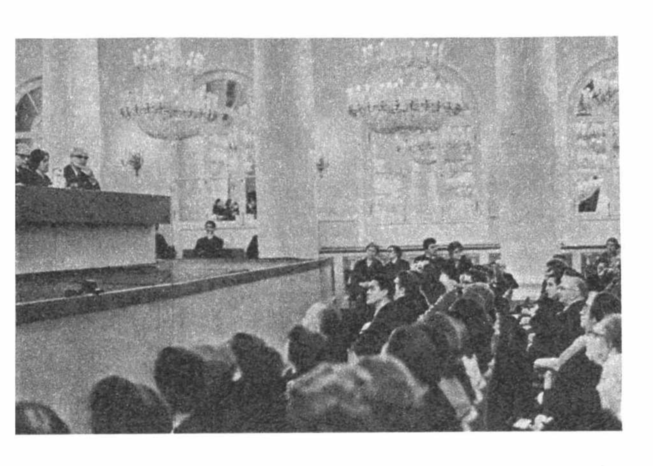
Перед тем как покинуть Луну, астронавты сняли и скатали в рулон алюминиевую фольгу, которая на Земле будет также тщательно исследоваться. Они сообщили, что фольга под действием солнечного ветра изгибалась как парус. Прихватили они и свою, отказавшую по неизвестной причине, телевизионную камеру.

Перед входом в кабину астронавты безуспешно пытались очиститься от лунной пыли. Бин посоветовал Конраду прекратить это бесполезное занятие. «Ты только становишься грязнее, совсем похож на трубочиста»,— добавил он.

В 17 часов 26 минут 20 ноября астронавты на взлетной ступени покинули Луну. Дальше все происходило так же, как и у «Аполлона-11», за исключением того, что отработавшая взлетная ступень была сброшена на Луну. Она упала на расстоянии 72 километров от установленного сейсмометра. Интересно, что колебания, вызванные ударом взлетной ступени о поверхность, прибор регистрировал более получаса. Это было большой неожиданностью для ученых, предполагавших, что затухание колебаний произойдет в течение нескольких минут.

...Ободренные успехом двух лунных экспедиций, руководители НАСА строят дальнейшие планы изучения Луны. Предполагается осуществить еще несколько полетов кораблей «Аполлон».

Д. ЛЕВСКИЙ, В. НАГОРСКИЙ, инженеры.



На выставке, которую устроили чехословацкие товарищи в одном из крупнейших московских магазинов «Мотолюбитель», были показаны последние модели «Ява», «Ява-ЭСО» и «ЧЗ».

Е. ИВИН

На снимке: Продавец магазина «Мотолюбитель» Нина Ульянова знакомит посетителей выставки с некоторыми моделями чехословацких мотоциклов.

Фото автора.

КОЛОНКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЦИСТА



СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

Владимир НИКОЛАЕВ

В ноябре Америку всколыхнули два события.

Первое — полет на Луну. Американский народ вправе гордиться своими учеными и космонавтами. Их успехи говорят сами за себя.

Второе — антивоенные демонстрации. Американский народ отказывается ждать, когда правительство Соединенных Штатов наконец прекратит агрессию во Вьетнаме. Об этом говорят массовые ноябрьские выступления.

Прямо-таки на космическом расстоянии друг от друга находятся слова и дела американского правительства. С одной стороны, лицемерные разглагольствования о мире, о выводе американских войск из Вьетнама, с другой — продолжение агрессии. Более 45 тысяч американцев и свыше 653 тысяч вьетнамцев — таков на сегодня, по официальным американским данным, итог военного преступления империализма США. Итог не окончательный, ибо война продолжается, ежедневно гибнут не только солдаты, но и мирные жители, в том числе женщины, старики, дети.

Зверства американской военщины во Вьетнаме — факт общеизвестный, но всегда с особым упорством отрицаемый Пентагоном. Сейчас (в который уже раз!) преступники снова схвачены за руку. Вскрылось еще одно невиданное злодейство. Оказалось, что в марте 1968 года американские агрессоры стерли с лица земли южновьетнамскую деревню Сонгми и расстреляли ее мирных жителей.

В американской прессе опубликовано интервью с сержантом Майклом Бернхардтом, вернувшимся из Южного Вьетнама. Он был свидетелем этого преступления. Сержант вспоминает: «Большинство из них были женщины, дети и старики. Я не помню, чтобы видел молодых мужчин. Расстреливали из винтовок и пулеметов. На все это потребовалось 15—20 минут».

Известно, какой массовый протест во всем мире вызывает американская агрессия во Вьетнаме. Волна протеста постепенно нарастала и в самих Соединенных Штатах. 15 октября этого года там состоялись невиданные ранее массовые антивоенные демонстрации. А в ноябре весь мир стал свидетелем манифестаций миллионов американцев против войны во Вьетнаме. Причем если в октябре они проходили под общими призывами к миру во Вьетнаме, то ноябрьские выступления состоялись под лозунгом: «Прекратите войну немедленно!»

Всю страну, от океана до океана три дня сотрясали антивоенные демонстрации. Самые мощные, самые массовые выступления состоялись в американской столице. Шеф вашингтонской полиции заявил, что, по его подсчетам, в демонстрации и митинге приняло участие свыше 250 тысяч человек. Потом, подумав, шеф полиции сам назвал эту цифру «скромной». Представитель же национального мобилизационного комитета по прекращению войны во Вьетнаме, организовавшего марш и митинг в столице, заявил, что там в антивоенных выступлениях участвовало около 800 тысяч человек.

Но дело, конечно, не в подсчетах точного числа участников. Главное в том, что движение против войны во Вьетнаме стало в США общенациональным. Это самые крупные антивоенные выступления за всю историю Соединенных Штатов. Рухнуло еще одно лживое утверждение буржуазной пропаганды о том, что в США против вьетнамской войны выступает лишь «воинствующее меньшинство из числа молодежи и студентов», а одобряет ее «великое молчащее большинство». В поддержку справедливой антивоенной борьбы миллионов американцев в эти дни прошли демонстрации и митинги на всех континентах.

Официальные власти США еще в канун антивоенных выступлений делали все, чтобы сорвать их. Этой цели служили, например, демонстративные военные и полицейские приготовления, принявшие небывалые масштабы. В Вашингтон, в частности, были введены сорок тысяч солдат армии и морской пехоты, национальной гвардии и полицейских сил.

Высказывается и такое мнение, что даже запуск «Аполлона-12» на Луну был призван сыграть роль в деле ослабления впечатления от антивоенных выступлений. Случилось так, что запуск и демонстрации совпали по времени. Но в день запуска, 14 ноября, шел сильный дождь и сверкали молнии. Погода была явно не для начала полета космического корабля. Тем не менее старт был дан. И тут же связь с начавшей полет ракетой нарушилась. Все уже было решили, что грозовые разряды положили конец смелому эксперименту. К счастью, все обошлось. Об этих тревожных мгновениях космонавт Конрад так сообщил на Землю: «Зажглись столько сигналов тревоги, что мы были не в состоянии даже просто прочесть их все».

Бесчисленное количество сигналов тревоги зажглось по всей Америке во время ноябрьских антивоенных выступлений. Эти сигналы не могут быть не увидены и не услышаны даже теми, кто этого не желает. В Вашингтоне участники митинга спрашивали через микрофон: «Вы слышите, мистер Никсон? Вы слышите, мистер Агню? А вы, в Пентагоне, слышите?»

Официальные американские власти пока еще глухи к этим призывам. Но хотят они того или нет, агрессия американского империализма во Вьетнаме обречена на провал. Мир победит войну! Вьетнам будет свободным!

Борис ИВАНОВ

ЛОГИ

КРАСНЫЙ ЛУННИК

Всегда полезно возвращаться к прошлому. Оно, это прошлое, каким бы ни было, помогает точнее и правильнее оценить настоящее, избежать ошибок в будущем, не тратить времени по-пустому там, где нужно лишь опыт употребить.

Это, так сказать, общие правила.

Но память имеет еще одно драгоценное свойство: вспышки ее высвечивают иногда ранее казавшиеся второстепенными события, которые вдруг приобретают значение и вес; они, оказывается, были для тебя основополагающими и главными в жизни. От них и повелась твоя дорожка... Они стали как бы незримым эталоном всех твоих оценок и взглядов.

Чтобы огонек этот вспыхнул, нужен импульс, толчок, иными словами, опять же событие, хотя бы приблизительно чем-то схожее с тем далеким-далеким, плотно зашторенным чередою лет. Таким толчком, отдернувшим занавес памяти, послужил для меня первый наш спутник, запущенный в космос осенью 1957 года.

Вдали от Родины особенно отрадно встретиться со своим земляком, провести вечер в его доме, напоминающем чем-то милый твоему сердцу очаг. А тем более на берегу Гудзона. Именно в этом районе Нью-Йорка жил мой коллега-журналист, пригласивший нас с Вадимом Михайловичем Кожевниковым отужинать у него в семье. Хозяйка дома, добрая, веселая Галя, приготовила селедку, приправленную уксусом, горчицей, подсолнечным маслом. Белые кружки репчатого лука придали прелесть всегда желанному блюду, а черный заварной хлеб, маринованные опята, квашеная капуста — завершенность русского стола. Так было душевно и тепло в кругу своих, советских, что не заметили, как наступил поздний вечер. Пришла пора благодарить и отправляться в свой пенал — длинный, душный номер гостиницы «Тюдор».

Решили пройтись пешком. В этот час Нью-Йорк приобретает особенно суматошный вид. Продравшись через какофонию света и звуков Бродвея, вышли на Сорок вторую улицу. Здесь стало потише и поспокойней. Можно было даже разобрать, что выкрикивают продавцы вечерних газет в высоких картузах. А они истошно сообщали на все голоса действительно невероятную новость: «В небе красный лунник! Читайте подробности: красный лунник над Нью-Йорком!» «Что такое?» — мелькнуло тревожно в голове. Но через минуту тревогу сменило чувство, которое можно выразить только одним словом — ликование: на первой полосе газеты «Ивнинг стар» мы прочли крупно напечатанную телеграмму ТАСС о запуске советского спутника. Это было начало новой эры в науке и технике. К сердцу прихлынула и гордость. По-мальчишески захотелось закричать на весь Нью-Йорк: «Смотрите, мы советские, мы тоже причастны к этому подвигу»? Сделай мы это, в ответ получили бы искренние поздравления от многих прохожих. С такой уверенностью я это говорю потому, что портье гостиницы, всегда подававший ключ от номера с полным безразличием, теперь расплылся в широкой улыбке, а лифтер, катавший нас обыкновенно по всем этажам с первого по двадцатый, если мы забывали дать ему вечером на чай, сразу, без подачки доставил на нужный, одиннадцатый.

В открытое окно номера доносились шум и запахи города, особенно запахи — какая-то смесь кухни, отработанных газов и бани. Из-за плоской крыши соседнего небоскреба вылезала луна. Возбужденный великой новостью, смотрел я на зеленый диск ночного светила в тайной надежде увидеть рядом его маленького братца. «Надо же, в космос забросили! Надо же!» И тут вдруг вспомнился голос отца: «Сейчас заброшу на Луну! Сейчас заброшу на Луну!» Очень явственно предстал отец передо мной, в выгоревшей гимнастерке с темными пятнами на плечах. Теперь я понимаю, что это были следы от погон, но тогда они казались мне заплатами. Он поднимал меня и, подбрасывая к потолку, приговаривал: «Еще выше! Еще раз!»

Отец приехал в Москву с врангелевского фронта по военным делам всего на два дня. Это было мое последнее свидание с ним. Через год к нам, в деревянный дом на Большой Грузинской, постукивая костылем, вошел чужой дядька и спросил: «Кто тут жена Владимира Ниловича?» Мать испуганно отозвалась. «Погиб наш комиссар на Перекопе,— сразу отрубил незнакомец,— там и похоронен. Вот его обручальное кольцо... Возьми». А еще через три года я вновь увидел мать с глазами, полными слез. Она, утепляя мою дырявую шубенку бабкиным платком, говорила: «Отца не хоронили, пойдем у гроба Ильича постоим... Простимся...»

И мы пошли от Пресни через всю Москву на Красную площадь. Мороз пробирал до костей. На Сенной, где теперь Тишинский сквер, стояли возы. От лошадей, посеребренных инеем, валил пар. Тверская, разделенная пополам трамвайными мачтами, была запорошена снегом. Страстной монастырь, тупо возвышавшийся на Пушкинской площади, походил на огромную ледяную гору. Слева от Иверской темнела вдали приземистая Китайгородская стена. Горели костры. Красная площадь казалась огромным темным полем. Горько пахло дымом. Посередине площади стоял на возвышении гроб. Вокруг согбенные спины людей. Они виделись мне большими и грозными. И тишина... Я слышал только всхлипы матери. Чувствовал ее горячую руку. До сих пор этот жар у меня на ладонях.

Ленин. Революция. Спутник. Такова логика века, размышлял я, стоя у окна гостиницы «Тюдор». Такова судьба моего народа: открывать новую эру не только в науке об обществе, но и в технике. Да, это ленинская живая мысль, ее творение там, высоко в небе. Там частица души, воли и тех, кто утвердил, отстоял, выпестовал в России ленинское детище — Советскую власть. И было особенно гордо здесь, на чужбине, чувствовать себя сыном этой страны, сопричастным ко всем ее делам и свершениям.

С того памятного вечера минуло уже много лет. Случилось побывать мне за это время на разных континентах. И где б ни был я — у друзей в Польше или ГДР, в капиталистической Америке или Бельгии, в странах, недавно сбросивших колониальное иго,— везде, и всюду, в различных проявлениях, сталкивался я с вечно живым разумом Ильича, видел в разной степени свечения отблески Октября.

Мир и Ленин, двадцатый век и ленинизм встали рядом.

СУВЕНИР

Самолет отправлялся в Москву рано утром. Впереди, до минуты расставания с Каиром, был еще целый вечер. А это много, если спешишь, если ценишь каждое мгновение. Хотелось еще раз побродить по городу, вдохнуть его восточный аромат, насладиться его непосредственностью и открытостью. Тем более, что наступил тот час, когда спала гнетущая жара и люди, загнанные ею под крыши домов, отгороженные от горячего солнца плотными жалюзи и шторами, вышли на улицу, чтобы подышать свежестью Нила, окунуться в ласковый вечер.

Многочисленные открытые кафе быстро заполнялись праздным народом. Пили воду, кофе, чай с молоком. Одни посетители сидели на старомодных плетеных стульях молча, сосредоточенно наблюдая за шумной толпой, текущей мимо, другие тихо, увлеченно беседовали. Босые мальчишки шныряли по мостовой с пачками газет и охапками гвоздик, предлагая пассажирам замедляющих бег машин новости и цветы. На зеленых газонах набережной Нила под кронами пальм тоже располагалась публика в белых и серых галабеях. Над длинными лотками с овощами и фруктами, расположенными пирамидками, эллипсами, квадратами и кругами, зажигались электрические лампочки.

У открытых дверей магазинов, где торгуют сувенирами, стояли продавцы с заученными улыбками и внимательными глазами. Пестрый товар был выложен и возле витрин на тротуаре, чтобы покупатель мог выбрать понравившуюся ему вещь из кожи ли, керамики, дерева, бронзы прямо здесь, не заходя в магазин.

Каир внешне вроде бы и не изменился. Тот же темп, те же краски и звуки. И все же можно было заметить в нем и новые черты. Они отнюдь не красили город. Задернуты темной материей уличные фонари, фары машин выкрашены в синюю краску. Патрули с автоматами на груди. У мостов через Нил выложенные мешками с песком огневые ячейки, из амбразур которых торчат дула пулеметов. Такие же заслоны у подъездов банков, государственных учреждений. Снята металлическая вышка, венчавшая многоэтажное здание радио и телевидения. Близость позиций израильских захватчиков наложила свою суровую печать на облик Каира.

У одного такого магазина с сувенирами, расположенного близ гостиницы «Шепард», остановились двое — очень симпатичные, одинаково одетые — в рубашках с короткими рукавами, в светлых из хлопчатки брюках и матерчатых туфлях. Загорелые. По виду, деловому и несколько утомленному, непохоже было, что они туристы. Один перебирал тисненые бумажники, другой рассматривал кожаного верблюда. Вот он поставил его на место и поднял желтую дорожную сумку с «молнией», на боках которой были изображены Нефертити, пирамиды и лотосы.

— Мистер? — сказал продавец услужливо.

— Что-нибудь на память...— последовал ответ на английском.

— Туристы? — спросил продавец, изучающе окинув взглядом обоих.

— О, нет! Археологи. Возвращаемся из Луксора.

Двое заговорили между собой, видимо, советуясь, что лучше купить, на очень знакомом мне по звучанию языке.

Продавец поднял с тротуара круглый пуф и фигурку из черного дерева. Но он не сразу предложил их, а вначале прислушался к разговору двоих, стараясь понять, кто же они по национальности, эти люди, и что их может заинтересовать.

— Русик! — громко произнес он, и глаза его загорелись тем особенным блеском, который вспыхивает при ощущении радости открытия.

— Нет, поляки.

— Мистер, пан, товарищ. Хорошо. Варшава, Москва. Социализм. Хорошо. Мы тоже строим социализм.— Продавец заговорил быстро, возбужденно, путая английские слова с арабскими.

Подошел еще один — рыжий, с тяжелыми руками. Он постоял с минуту у витрины и шагнул в магазин. Через открытую дверь было видно, как рыжий медленно перебирал на прилавке коврики, статуэтки, изделия из металла. Но продавец, увлеченный беседой, не обращал на него вни-

КА ВЕКА

мания. Бросив и пуфик и фигурку на тротуар, он ударил в ладони, закачал головой.

— Я феллах. Тут служу. Аллах свидетель, домой хочу... Асуан, слышали? Мно-оо-го воды... Отец получил новую землю. Зовет. Скоро поеду. Будем все вместе. Колхоз, как в России. Заживем во славу аллаха!

По сбивчивой, энергичной речи продавца чувствовалось, что он смутно представляет себе, что такое колхоз. Но твердо знает: коллективный труд приносит счастье, придает силу.

— Вот только война. Ну, ничего. В России тоже были интервенты, Ленин выгнал их! Мы тоже выгоним. Теперь у нас есть друзья. Научимся.

Продавец умолк, поглядывая на поляков, как бы угадывая, какое впечатление произвели на них его слова. Мимо, с ящиком через костлявое плечо, разочарованно прошел чистильщик, увидев на ногах двоих матерчатую обувь.

— Дорожная сумка стоит четыре фунта. Только четыре,— повторил цену продавец.

— Четыре так четыре.

— Халас! Сэнк'ю, мистер.

Сумка была тщательно вытерта тряпочкой и любезно вручена покупателям.

Двое медленно зашагали к «Шепарду». А продавец опять встал изваянием у дверей магазина.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Будапештская подземка — одна из старейших в Европе. Она вступила в строй после лондонской и, естественно, многое сохранила от того, что диктовалось техникой прошлого века. Крошечные дребезжащие вагончики, маленькие темные станции, расположенные на глубине нескольких ступенек от поверхности улицы. Соответствующая скорость поезда. Протяженность всей линии чуть более трех с половиной километров. Конечно, такая подземка плохая подмога трамваям, автобусам и троллейбусам быстро развивающегося города. Тем более связывает эта линия лишь несколько центральных улиц. Но сейчас ускоренными темпами строится настоящее метро, которое будет одним из самых современных в Европе.

Старинность будапештской подземки особенно была очевидна в часы пик да еще в предпраздничный вечер. Вагончики буквально скрипели от тесноты. Пассажиры, нагруженные пакетами, коробками, баулами, стояли, плотно прижавшись друг к другу. Проемы между окон, обычно отданные рекламе, пестрели репродукциями с плакатов и лозунгов революционных дней девятнадцатого года. Рабочий, поднявший над головой красное знамя. Художник изобразил его в порыве, как бы слил с ветром эпохи, все его существо обратил в будущее, устремил вперед. Солдат с пятиконечной звездочкой на фуражке и с винтовкой в руках, призывающий к оружию. Другой плакат возвещал: «Диктатура пролетариата! Да здравствует союзная с Русской Венгерская Советская Республика!»

Город воскрешал суровую пору пятидесятилетней давности. Только лица его жителей светились сейчас улыбками, радостной заботливостью. А людям было от чего радоваться. То, о чем мечтали, за что боролись старшие поколения полвека назад, свершилось и прочно утвердилось: в центре Европы живет, набирает сил Венгерская Республика.

Воспарил, скажут некоторые. Что делать! Такова конкретность жизни. От нее никуда не уйдешь. И писать, значит, ее надо конкретно и просто, как художник Берени Роберт изобразил своего рабочего с поднятым над головой знаменем. Этот образ волнует до сих пор. И недаром он послужил основой для скульптуры, установленной на одной из площадей Будапешта.

Не знаю, пользовался ли подземкой Бела Кун весной и летом девятнадцатого года, но то, что он видел и одобрял революционные плакаты, смотревшие на меня сегодня со всех сторон вагона,— это доподлинно известно. «Особенно ему нравился плакат «Рабочий со знаменем»,— говорила мне его вдова Ирен Кун.

Я возвращался из дома Ирен Кун, где провел несколько часов в кругу ее семьи. В большой квадратной комнате, освещенной яркой люстрой, собрались ее дети: Агнеш — переводчица и литературовед, Николай — опытный, смелый хирург, и зять — Антал Гидаш — известный венгерский поэт и романист. Ирен Кун сидела в мягком глубоком кресле. Ее красивое, чуть тронутое морщинами лицо обрамляла шапка густых, пышных волос. Подтянутая, с живыми серыми глазами, она рассказывала о событиях, свидетельницей и участницей которых была, не спеша, с паузами, часто отсылая меня к документам и книгам: «Посмотрите там-то, прочтите у того-то».

— Но вот хорошо помню, как взволнован был Бела Кун,— говорила она,— после разговора с Владимиром Ильичем по радиотелеграфу. Он быстро ходил по комнате и говорил: Советская Россия нас поддержала. Каково, а?! Ленин сказал, что пролетариат всего мира напряженно следит за нашей борьбой. Победа непременно будет за нами. И не выглядел он усталым, хотя ночь смешалась с днем. Уверенностью и бодростью светился он весь.

Потом опять Ирен Кун отвлеклась, явно уклоняясь от разговора о своем муже, а все шире рисовала картину тревожного, бурного лета 1919 года. Мне же хотелось побольше узнать деталей жизни, черт характера Бела Куна — ленинца, руководителя венгерской социалистической революции, вспыхнувшей через год с небольшим после Октябрьской. Ведь это было событие особой важности: из цепи империализма выпадало еще одно звено.

— Видите ли,— вмешался в беседу Антал Гидаш,— Бела Кун терпеть не мог славословий. Ненавидел показуху. Он был ленинец во всем — и в делах и в поступках. Иду я как-то по проспекту Тэрэс. На дворе стоял июнь. Вижу, возле какого-то дома собралась огромная толпа. Да это же райком четвертого района. Говорят, Бела Кун прибыл сюда. Кто-то заметил, как он вошел в парадное. Зевак все прибавляется. Два часа дня. Кто же это такие? Ведь рабочие на заводах или на фронтах. Империалисты навалились на молодую Венгерскую Советскую Республику со всех сторон. «Бела Куна, Бела Куна, хотим послушать Бела Куна!» — кричат из толпы... Этим людям явно хотелось зрелища. Кричат, хлопают в ладоши. Уже минут пятнадцать так-то. Вдруг распахивается дверь балкона и выходит Бела Кун. «Перестаньте хлопать, аплодисменты здесь ни к чему,— громко говорит он,— займитесь лучше своим делом! Займитесь чем-нибудь полезным. У нас много дел. Между прочим, мы заняты и тем, чтобы столько людей не било баклуши и не сидело на шее у трудящихся...» — Повернулся и ушел. Таков был Бела Кун.

...Вагон заурчал и остановился. Раздвинулись с шумом широкие двери. Как по команде, вывалилась на платформу пачка пассажиров. Их места тут же дружно заняли другие.

— Привет, товарищ! — услышал я удивленный голос, вырвавшийся из партии новых пассажиров.— Вот встреча! Не ожидала.

Действительно, неожиданность. Так странно переплетаются дороги этой жизни. Передо мной стояла стиснутая со всех сторон Тиборнэ Надь — секретарь Дебреценского горкома партии, поправляя тонкими пальцами очки в темной оправе.

— Чуть не сбили.

Вчера целый день мы провели с ней в Дебрецене. Она с гордостью показывала его новостройки: подшипниковый комбинат, продукция которого идет в двадцать стран, университет, фармацевтический завод «Биогал» — лекарствами с этой маркой пользуются и советские люди, водила нас в театр на веселую музыкальную комедию «Мать и Кристина». А гордиться ей было чем. Все, что мы видели: огромные цеха с совершенными машинами, светлые аудитории с задорным людом, тихие лаборатории, где над колбами и пробирками колдовали строгие инженеры и врачи, готовя исцеление больным, уютные дома в ожерелье садов,— построено за годы народной власти. Да и сама Тиборнэ Надь росла и мужала вместе с этой властью. В новом ей виделась и ее судьба. Дочь батрака и прачки — стоять бы ей тоже у корыта — стала видным партийным деятелем. Началось все с 1945 года, когда Венгрия окончательно была освобождена советскими войсками от фашизма. Помощь все же пришла. Сбылись пророческие слова Ленина. Венгерские рабочие на этот раз прочно и навсегда овладели положением. В том же году Тиборнэ Надь стала работницей чулочной фабрики и вступила в компартию. Она оказалась такой на фабрике одна. Тут, очевидно, не обошлось без влияния мужа, коммуниста, токаря вагоноремонтного завода. Ее подруги и товарищи были социал-демократами. Стала Тиборнэ Надь учиться. «А как мечтала, ох, как мечтала!» Через три года она секретарь парткома фабрики. В пятидесятом — референт городской партийной школы. Параллельно с работой занимается на факультете марксизма-ленинизма. Бегут годы. Уж и сын агроном. «Под боком Хортобадьская степь, где батрачил мой отец. Нужно и ее осваивать». У одних на висках седина, а у Надь, наоборот, прибавляется сил. «Иду в ногу со временем, а оно молодое». После окончания будапештской высшей партийной школы ее избирают секретарем Дебреценского горкома партии. «Забот прибавилось, но и опыта тоже. Трудно? Конечно, да».

— Рад видеть вас, Тиборнэ. Какими судьбами?

— Была в ЦК. Да и праздник.

Но поговорить нам на этот раз не удалось. Моя остановка. Поезд опять заскрипел.

— До встречи в Москве,— крикнул я на прощание через головы пассажиров.

— Не иначе.

«Не иначе». Так закономерно переплелись дороги наших народов и стран.

НА БЕРЕГУ ТЕМЗЫ

Дом Веры Бритон стоит на Уайтхолл, на берегу Темзы. Он высокий, многоэтажный. О его годах говорит черная патина времени и белые, просветленные места, оттеняющие линии архитектуры. Весь Лондон такой же. Десятилетиями, веками оседающая угольная копоть от миллионов каминов с помощью смогов так въелась в когда-то белые камни строений, что никакими пескоструйными аппаратами, никакими скребками их уже не отчистить. Впрочем, хозяева города и не собираются этого делать. Зачем? Просветленные места на стенах, колоннах, фризах и порталах — это как бы напоминание о возрасте, о жизненном опыте. В этом доме жил и Бернард Шоу. Он был частым гостем у Веры Бритон. Их много лет связывала большая литературная дружба.

К Вере Бритон я попал только под вечер, когда густой толпой валил из Сити в черных котелках и с зонтами-тростями в руках чиновный люд — фигуры, словно сошедшие со страниц «Саги о Форсайтах». День же весь был посвящен Британскому музею. К нему я шел по тем же самым улицам, по которым ходил сюда в 1902—1903 годах Владимир Ильич Ленин. Это не стоило большого труда, ибо Лондон бережно хранит старые названия улиц, их очертания и даже цвет. Это, пожалуй, единственный случай, когда консерватизм играет прогрессивную роль. Слишком увлекаясь переименованиями, мы порой забываем о характере, индивидуальности города, о его романтической прелести. Тем самым ненароком стираем черты прошлого. А не ведая прошлого, современник меньше ценит настоящее, не так прочно стоит на ногах, как бы подобало ему, наследнику всего, что создал его народ за века.

В этой связи мне вспоминается разговор летом 1955 года с В. Броневским, выдающимся польским поэтом. Тогда началось активное восстановление Варшавы, особенно широко развернулись работы в Старом Мясте, Краковском предместье, на Новом Святе — древнейших районах Варшавы. По старинным гравюрам и чудом уцелевшим чертежам строители воздвигали буквально на щебне и пепле средневековые дома ремесленников, купцов, храмы и замки, целые архитектурные ансамбли. Я спросил, искренне удивляясь, зачем варшавяне вкладывают и труд и средства в старину, когда нужен просто кров для тысяч и тысяч семей. На это мне В. Броневский ответил: «За старинными стенами не пустота, а современные квартиры. Это раз. Во-вторых, все наши расходы по восстановлению старого города и ломаного гроша не стоят по сравнению с той пользой, которую принесет наш поступок будущим поколениям. Они не только будут знать из учебников, когда возникла столица их страны, но и воочию увидят, с чего пошла, откуда началась их Варшава. Мы восстанавливаем не старый город, мы воскрешаем тысячелетнюю историю польского народа. Истина, как говорил Ленин, конкретна, она познается опытом. А новую Варшаву мы построим. Это легче».

И поляки сдержали свое слово.

Размышляя об этом, я доехал до станции метро Кингс-Кросс-Род, что неподалеку от Холфорд-сквер, где в 1902 году в двух комнатах поселился Владимир Ильич. Я поднялся наверх и очутился на улице Грэйс-Инн. Сравнительно узкая и в этот утренний час тихая, она довела меня до Гилдфорд-стрит. Отсюда я свернул на Рассел-стрит. Не знаю почему, то ли оттого, что внешне ничто с тех давних пор не изменилось — те же названия, те же дома, те же под ногами камни, но мне вдруг почудились и дух и ритм начала века. Не замечались даже автомобили, стоящие гуськом у обочины мостовой. Явственно представилась быстрая, легкая походка Ленина, я даже слышал стук его каблуков. Отрезвили меня возникшие вдруг перед глазами гордые колонны одного из прекраснейших зданий Лондона — Британского музея.

Рассказывать о сокровищах Британского музея можно бесконечно. В нем представлены древности Египта, предметы античных, азиатских, греко-римских, персидских, хеттских и других культур. В общем, здесь собраны как бы драгоценные памятники английского колониализма. Где были, оттуда с пустыми руками не уходили. Все эти предметы детства человечества расположены в огромном четырехугольнике, в центре которого под стеклянным куполом находится скромный круг — не менее знаменитый Reading Room, читальный зал, в котором работал в 1902—1903 годах, а затем в мае месяце 1908-го Владимир Ильич Ленин. Ридинг Рум — сердце музея, его нерв и разум. Здесь собрана в концентрированном виде человеческая мысль, давшая жизнь искусствам и наукам, философии и политике.

Я поднялся на второй этаж, с круглой галереи которого хорошо был виден весь читальный зал. Его скамьи располагались радиусами от центра к стенам, сплошь опоясанным книжными полками. Рационально и удобно: никто никому не мешает, и книги под руками. На одном из столов, у главного прохода в холл, лежал белый листок бумаги. Именно здесь, по свидетельству документов и предположению служащих, работал Владимир Ильич. Но место точно никто определить не может.

Полный впечатлений от пережитого и увиденного за день, я вошел в широкий подъезд дома Веры Бритон. Старинный лифт поднял на светлую лестничную площадку. Дверь одной квартиры настежь открыта — там шла побелка передней. Это оказалась квартира Бернарда Шоу. Напротив — двери квартиры Веры Бритон.

У хозяйки собрались уже гости. Оказался среди них и мой старый знакомый английский журналист, с которым мы встречались еще в 1942 году в Москве и на Западном фронте. Он представил меня невысокой женщине. Годы легли прозрачной дымкой на ее голову, легкой усталостью отразились во внимательных глазах.

— Добрый вечер! Рада вас видеть...

Я ощутил энергичное пожатие маленькой сухой руки.

Среди гостей были американский социолог, писатель из Гонконга, профессор филологии Лондонского университета. Фамилии их я, к сожалению, не запомнил.

Разговор у Веры Бритон предполагался чисто литературного характера. Так по крайней мере мне сказали накануне в Национальном союзе студентов. Однако уже по первому вопросу, заданному американским социологом с прямолинейной непосредственностью, я почувствовал, что другая проблема волнует гостей. Видимо, я попал в самый разгар ее обсуждения.

— Скажите, какими методами удерживают русские окраинные народы в едином государстве?

— У вас, сэр, позвольте заметить, несколько устаревшая терминология,— обратился с улыбкой к американцу английский журналист,— поскольку, я знаю, в России нет окраинных народов, и русские тут ни при чем.

— Видите, мой коллега уже наполовину предварил мой ответ.

— Ну, сэр, этот вопрос следовало бы задавать вам, англичанам,— с видимым злорадством сказал социолог.

— А вы не спешите... Удивительна у вас, американцев, манера, как говорят в России, лезть поперед батька в пекло.

— Господа, господа,— застучала о полированный стол высоким стаканом Вера Бритон,— где русские, там смута — вечная история.

— Не вечная, а полувековая,— заметил филолог.

Все засмеялись.

— Разрешите посвятить вас в суть нашей беседы,— сказала, обращаясь ко мне, миссис Бритон.— Как соберутся мужчины — только о политике. Мы все свидетели удивительного явления. Оно началось вскоре после войны. По миру с невероятной силой прокатилась волна национализма. Она коснулась всех великих держав. Империи стали рушиться, Британия, как и Россия, многонациональная держава...

— Была,— вставил американец.

— Подождите! Так вот, наши страны — победительницы. Казалось бы, чувство патриотизма должно было еще прочней сплотить народы. А произошло все наоборот.— Вера Бритон развела руками.— Народы Великобритании стали ускользать из-под английской короны. В России же...

— Говоря о современности, будем по-современному точны, не в России, а в Советском Союзе. Причину же вы сами назвали — английская корона.

— При чем здесь корона?

— Скажем по-другому — колониальная система... А метод наш прост: ленинская национальная политика. Полное равноправие всех народов, всех народностей.

— Так и знал, опять Ленин,— сказал писатель из Гонконга, сощурив глаза,— хотя...

— Такова правда истории. Когда-то Уэллс назвал Ленина великим утопистом. А его идеи за какие-то десятки лет восторжествовали в жизни половины человечества. Влияют они на жизнь и других стран. Не обошли эти идеи и вашу империю.

— Применительно к нам это потеря колоний, что ли? Это вы хотите сказать?

— Допустим.

— Не то, не то,— сказал американец,— бывшие колонии не стали же социалистическими. А многие их правители по-прежнему приезжают за консультацией в Лондон.

— У нас в старой России после отмены крепостного права многие из так называемых дворовых людей, холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа их драли.

— Достаточно! Все! Поговорили! — опять стукнула стаканом о стол Вера Бритон.— Спор наш далеко заведет. Лучше о литературе.

— Тут тоже не обойдешься без политики,— сказал журналист.

— Тогда идемте на балкон. Освежимся. Красивый открывается вид...

Панорама открылась действительно эффектная. Только что прошел дождь. Почерневшие было тротуары дымились, покрываясь серыми пятнами. Над Темзой, широкой и полноводной, метались чайки. По маслянистой в барашках воде сновали буксиры, катера, важно проплывали баржи. У причала стояла белым лебедем нарядная яхта. На ней прибыла с визитом в Лондон нидерландская королева. Мрачной громадой виднелся вдали Тауэр, где встретил свой последний час Томас Мор, основоположник утопического социализма. Во дворе этого замка, ставшего музеем, неподалеку от Кровавой башни, у серой от времени и птичьего помета стены, живут шесть воронов. Вот уже девятьсот лет живут они здесь, подкармливаемые мясом, оберегаемые ветеринаром. Если вороны улетят, говорит легенда, Британская империя рухнет.

Британская империя рухнула. Вороны не разлетелись. Легенды остаются легендами.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Это была особенная осень. Даже трудно ее было назвать осенью, хотя по фенологическому календарю была именно она — золотая, с ночными заморозками и утренней свежестью. Краски Москвы — яркие, сочные, лица горожан, музыка из репродукторов, сияние меди духовых оркестров и песни, песни — все это смешалось в одном высоком и неповторимом образе — образе радости, все это окрасило утро в весну. И солнце, такое редкое в московском ноябре, усиливая это ощущение, щедро светило и грело со своих космических высот.

Счастье — штука капризная. Не каждого оно посещает даже при социализме. Но в это утро все были счастливы. Так по крайней мере казалось мне, когда я шел пешком от Белорусского вокзала по улице Горького к Красной площади. Что касается меня, то, как говорится, я шел и ног под собой не чувствовал. Встретить праздник пятидесятилетия Октября мне предстояло на трибуне Красной площади.

Широкая улица Горького, как малявинская красавица, вся в кумаче. На фронтоне здания кинотеатра «Москва» лозунг: «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин». И автор этих слов тут же в бронзе, простой и гордый. Через улицу другой лозунг: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Оркестр грянул марш. И где-то с музыкой на ум пришли слова: «На сердце нашем КИМ, а в сердце нашем Ленин...» Где же я слышал эти слова? Не слышал, а читал. И сочинили мы их сами в школе в 1929 году, встречая 12-ю годовщину Октября. Школа была маленькая, деревянная. Но нам, мальчишкам, казалась большой, и носила она имя Коммунистического Интернационала Молодежи — КИМ. Теперь ее уже нет. Стоит высокое каменное здание и носит не имя, а порядковый номер.

На праздник к нам в школу приехали представители из ЦК комсомола. Они привезли подарки — кому новые ботинки, кому отрез на рубашку. Мне достались валенки с калошами. Потом давали сладкий чай и по кусочку белого хлеба. Я был счастлив, ей-ей, не меньше, чем сего-

дня. Мороз у порога, а мои туфли вконец отказывались служить. Чтобы не потерять подошвы, идя в школу, я обвязывал ботинки проволокой. Время было трудное.

На Красную площадь я входил со стороны Каменного моста. Часы Спасской башни показывали половину десятого.

Красная площадь! Что сказать о тебе, особенно в этот день — годовщину Октября. Во все века ты была для России красной. Но не только красивой, светлой — красным углом государства. И Октябрь для моей Родины не просто осенний месяц. В октябре 1380 года проехал по Красной площади на белом коне Дмитрий Донской, возвещая народу русскому о победе на поле Куликовом. В октябре 1606 года сюда, к стенам Кремля, подошел с первой народной ратью Иван Болотников, мечтавший о лучшей доле для простых людей. А через шесть лет, тоже в октябре, российский гражданин Кузьма Минин и воин Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение, освободившее Кремль, а затем и всю землю русскую от иностранных захватчиков. Прошло еще два века, и снова в октябре бежал из Москвы надменный Наполеон.

Октябрь 1917 года.

Над Красной площадью взвилось алое знамя социалистической революции. Вряд ли этот подвиг могла совершить серая, лапотная, нечесаная Русь. Он мог быть по плечу лишь народу с высоким интеллектом, с богатой историей бунтаря и свободолюбца. Не кто иной, а именно российский пролетариат оказался впереди так называемых «культурных наций». Он возглавил колонну, идущую в будущее.

И Красная площадь стала с тех пор Красной уже в другом, привычном нам значении. Это теперь не только красный угол государства, это символ торжества социализма. И Октябрь стал рубежом, мерой отсчета новой эры в истории человечества.

В первую годовщину Октября на Красной площади, у Сенатской башни, Владимир Ильич Ленин, открывая мемориальную доску творцам Октябрьской революции, взволнованно говорил:

«Дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму».

И вот пятидесятая.

Идут по Красной площади новые поколения революционеров. Они сдержали клятву, данную своим отцам. Сейчас они идут, как бы воскрешая путь, проделанный старшими, в буденовках, в папахах с кумачовыми полосками, с винтовками-трехлинейками в руках. Они ничего не забыли. Они первыми вывели на орбиту вокруг Земли спутник — красный лунник потому, что подражали бесстрашию и героизму своих отцов. Дерзали, утверждая их завет, в науке и труде. Идут лихо, весело по праздничной площади. Молодые. И я невольно ищу среди них похожего на моего отца. Ничего странного в этом нет. Ведь ему тоже было в ту пору, как и им, двадцать.

Сейчас бы он, наверное, стоял на трибуне, восхищаясь своими сынами. Рядом с однополчанами, единомышленниками, приехавшими в Москву со всех концов страны, из многих государств Европы и Америки, Азии и Африки. Это представители тех, кто уже идет в колонне, прокладывающей путь в будущее, и тех, кто еще только пробивает себе путь к этой колонне. Стоял бы рядом с поляком Тадеушем Борщаговским, приехавшим из Варшавы. В гражданскую Борщаговский воевал в полку, которым командовал маршал Тимошенко. Выбивал беляков из Ростова-на-Дону. Брал под руководством Фрунзе Перекоп, гнал Пилсудского. Стоял бы рядом с немцем Паулем Верман Крюгером, что приехал из Берлина. Крюгер был членом «Союза Спартака», дрался на баррикадах Галле, в восемнадцатом перебрался в красную Россию. Вместе с Буденным брал Каховку.

Каховка, Каховка.
Родная винтовка...

А на Красной площади уже не винтовки, а громыхают танки. Проплывают ракеты.

...Бегут к гостям пионеры с гвоздиками в руках. Каждому гостю цветок на радость, от души. Махмуд Омар прикалывает гвоздику к лацкану своего пальто, а перед его глазами каирские мальчишки, шныряющие между машинами и пешеходами с охапками гвоздик. Но он знает, верит, что детей Египта ждет лучшее будущее. Он борется за это. Потому он сегодня и на Красной площади.

Флаги, флаги, знамена. Солнце светит еще ярче. Флаг Киргизской Советской Социалистической Республики. Я прочитал накануне праздника в одном дореволюционном справочнике: «Образование киргизы не получают. Они почти все безграмотные». За флагом транспарант: «Киргизия — республика сплошной грамотности». Таков ныне «окраинный» народ, мистер американский социолог. Помните, напротив квартиры Веры Бритон, где мы с вами познакомились, расположена квартира Бернарда Шоу. Он говорил в 1931 году в Ленинграде:

«Ленин умер. Мы должны смотреть в будущее. Каково же его значение для будущего? Так вот, значение это заключается в следующем. Если эксперимент, который предпринял Ленин, который он возглавил и представителем которого он для нас является,— если этот эксперимент в области общественного устройства не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей».

И современная цивилизация буквально через десять лет погибла бы, если бы не удался опыт социализма. Именно социалистическое государство — СССР — спасло мир от фашистской чумы.

...В первый праздник Октября «Правда» напечатала семнадцать лозунгов. Среди них был и такой:

«Царство рабочего класса длится только год. Сделайте его вечным».

Нынче Советскому государству — государству рабочих и крестьян — исполнилось пятьдесят два года. Его ничто не могло сломить, когда СССР был один. Теперь историки, философы, политики говорят о мировой социалистической системе.

Царству рабочего класса быть вечным.

С ним Ленин.



М. Н. Андросюк, В. Тотьменин и Леночка Стукалова.
Фото А. Гостева.

А. СТАРКОВ

НА 1517-М КИЛОМЕТРЕ ОТ МОСКВЫ

Место происшествия: Северная железная дорога, перегон Тобысь — Карсты, 1517-й километр.

Время: поздняя осень, конец сентября, суббота, четыре часа пополудни примерно.

Участники:

Леночка Стукалова, ученица 5-го класса Сосногорской школы-интерната;

Михаил Николаевич Андросюк, машинист тепловоза «2 ТЭ 10 л»;

Володя Тотьменин, помощник машиниста;

дежурная по станции Карсты;

продавец вагона-лавки с ружьем;

медведь или медведица, точно не установлено, скорее всего медведь.

Андросюк. Я в тот день из отпуска как раз вышел. Из неочередного. Ездил в Москву защищать диплом. Я институт окончил заочный. Диплом — по специальности: «Основное локомотивное депо». В инженеры пробился поздновато, тридцать седьмой мне. Но так сложилась жизнь. Все сроки сдвинулись из-за войны — мы жили в деревне под самым Брестом,— из-за гибели отца, из-за того, что в одиннадцать лет остался я за главного работника в семье... Я тут в депо не первый машинист с высшим образованием, пятый. Диплом не для должности, с тепловоза уходить не собираюсь...

Тотьменин. У Михаила Николаевича скоро и второе высшее будет.

Андросюк. А чего ж, дело мое такое холостяцкое, время есть, поступил в заочный юридический, интересуюсь. Да хватит про меня-то... В тот день работали мы, значит, с Володей на сборке поездов...

Тотьменин. Вагоны брали с лесом — и в состав. А пустые — под погрузку. На станции Тобысь четыре вагона поставили. Груза там не было, не подвезли еще с леспромхоза. И мы в одиночку резервной, как у нас говорится, машиной отправились в Сосногорск, в депо...

Андросюк. Я слева сидел у окошка. У пульта — Володя. Права машиниста у него, а помощником ездит...

Тотьменин. Теперь вы про меня начнете, да? Давайте про медведя.

Андросюк. Про тезку моего? Ладно. Сижу у окошка, тайга мимо. Береза, ельник. Гущина — невпроглядь. И тихо. Только тепловоз наш тревожит тишину. Да товарняк прогрохотал навстречу. С цистернами из Ухты. Машинист высунулся, незнакомый мне, крикнул что-то. Ветер унес, не разобрал я. Похоже вроде: «...девочка...» Какая девочка?.. А-а, вот она. Показалась из-за поворота. Идет по насыпи, по обочине. Грунтовой дороги нет, узенькая пешеходная тропинка вдоль пути... В летнем синем пальтишке девчонка, в ситцевой косынке.

еще подумал: не легко ли одета, воздух уже холодный, предзимний. Но на ногах теплые сапожки, это хорошо... Весело идет, ходко, подпрыгивает, авоськой размахивает. А в авоське книжки, тетради. И тапочки.

Лена Стукалова. Не было у меня тапок...

Андросюк. Точно помню, были. Кожаные, с черной каемкой...

Лена. Ой, верно, я и забыла, были. Мамины. Я их от сапожника несла...

Тотьменин. А чего же ты, Леночка, не поехала поездом? Вас ведь, интернатских, по субботам на специальном развозят.

Лена. Развозят... Вечером. И так-то долго дожидаться, а в ту субботу двух последних уроков не было... Я знала, что маме в вечернюю смену на обход. Поздно приеду, не застану дома... Я пошла на станцию, а там стоит пассажирский.

Тотьменин. Семьдесят девятый, воркутинский?

Лена. Ага, из Воркуты. Он в Карстах у нас не останавливается, в Тобыси. А оттуда пешком обратно.

Тотьменин. Двенадцать километров до Карстов. А тебе же еще дальше, до путевой казармы.

Лена. Там уж близехонько. Я сколько раз так ходила.

Андросюк. А вообще-то ты, понимаешь, нарушительница. Из-за тебя директору школы неприятности.

Лена. Я знаю, я не буду больше так... В Тобысь приехали, я пошла по шпалам.

Андросюк. Мы видели на станции пассажирский. Могли бы тебя подбросить до Карстов.

Лена. Я по шпалам сначала шла, а потом спустилась с насыпи. Я очень четырнадцатого километра боюсь.

Тотьменин. Тысяча пятьсот четырнадцатый от Москвы. Резкая кривая. Поезд неожиданно вылетает из-за поворота.

Лена. Там тетю Лиду задавило, мамину напарницу... Я пошла по траве, краюшком леса. Бруснички собирала.

Андросюк. А что, брусника еще была?

Лена. Немножечко. Собрала — съела.. Потом на насыпь поднялась. Но не по шпалам шла, сбоку... Товарный пронесся навстречу. Дяденька машинист рукой мне махнул. В сторону Карстов показал. И крикнул чего-то.

Андросюк. Он и тебе кричал?

Лена. Крикнул, да я не расслышала, чего... Потом тепловоз меня обогнал.

Андросюк. А это уже наш был... Я девочку увидел, говорю Володе: «Смотри, какая храбрая шагает. Тайга вокруг, ни души живой, и стемнеет скоро. Идет, не боится». Едем, а девчонка эта из головы не выходит. Надо было прихватить с собой, не догадались. Ну, ничего, может, ей недалече... Только подумал так, глянул в окошко... господи, медведь! Медведь на просеке, в полсотне шагов от полотна, в полосе отвода. Медведь или медведица, не знаю. С медведицей обычно медвежата, а их не видно. Стоит на четырех лапах, озирается, куда дальше двинуться, выбирает... Налево, думаю, пойдет — девочке навстречу. А никуда не пойдет — все равно она ему навстречу. Между ними чуть побольше километра. Понял я теперь, о чем кричал машинист с товарного. Медведя видел, предупреждал... «Володя,— говорю,— надо выручать девчушку». «Надо,—говорит,—Михаил Николаич». Но как? Нам же без разрешения возвращаться нельзя, позади псезда́ могут идти... Я по радиотелефону Карсты вызвал, дежурного по станции. Там дежурная. «Разрешите,— говорю,— на перегон вернуться, на тысячу пятьсот семнадцатый километр. Девочка идет встречь медведю...» У дежурной хорошее настроение, шуткует: «Ох как страшно! Девочка и медведь. Как в сказке...» И кладет трубку. Я снова вызываю: «Выслушайте и поймите. Девочка идет в пасть к медведю... Запросите для меня разрешения у диспетчера в Сосногорске». А она уже с раздражением: «Нечего и запрашивать по пустякам, не разрешит». И трубку на рычаг. Своих-то детей нет, наверно. И у меня их нет...

Тотьменин. Мы должны были Карсты ходом проследовать.

Андросюк. А я решил: остановлюсь. Пусть нарушение, пусть накажут. Хуже мне будет наказание, на всю жизнь будет мне казнь, если с девочкой что случится... И я на Карстах — стоп. Бежит дежурная, орет: «Почему безобразничаете? Почему нарушаете?» А я из окошка: «Пока не свяжетесь с диспетчером, дальше не поеду!» И она по лицу моему видит — не поеду. Что ей делать? Бежит в дежурку. Слышу в открытую форточку — кричит, жалуется на меня: «Своевольничает машинист... ехать не хочет...» И вдруг смолкла, тише заговорила, слышу: «Есть! Хорошо...» Вышла из дежурки, говорит: «Диспетчер все знает. Из Тобыси звонили...» А, думаю, молодец машинист с товарного, побеспокоился. «Давайте быстрее на перегон за девочкой!» Это она уже меня торопит, раз начальство приказало. Ничего я ей не сказал, чего стыдить, если самой потом будет стыдно. А может, не будет... Я перешел во вторую кабину, к другому пульту, чтобы обратно ехать.

Тотьменин. Михаил Николаич, вы про охотника забыли.

Андросюк. Как такого доброхота забыть!.. Продавец из вагонлавки. У нас еще говорят, продразвозка. Продовольствие, хлеб главным образом, развозят по линии. По мелким станциям, полустанкам, где магазина нет. К попутным поездам прицепляют. И продавцы из этих лавок вечно околачиваются возле дежурных, оказию вымаливают. Вот и этот сидел в дежурке. Услышал про медведя, выскочил, побежал в свою лавчонку и оттуда с ружьем к нам на тепловоз. «Возьмите,—говорит,—меня с собой. Пригожусь. Пристрелю в случае чего зверя». Я подумал: действительно, с ружьем вернее. «Садитесь»,— говорю. И предельную даю скорость. А медведь словно ждал нас на той же просеке, только еще ближе к полотну. На задних лапах стоит, раскачивается. Я такого, таежного, первый раз увидел в близости. Огромный, страшно́й, спина черная, брюхо серое. Охотник говорит: «Пальну!» И дробью заряжает двустволку. «Как же,— говорю,— вы с заячьей дробью на медведя? На такого с рожковым автоматом надо. И уж, во всяком случае, с пулей...» «А я ему,— говорит,— по глазам...» Запретил я стрелять, спугнет лишь косолапого, метнется тот в сторону и как раз на девочку. Вон она, видна уже с тепловоза, и она нас видит, а медведь все еще скрыт от нее кустами...

Тотьменин. Мы подъехали на малой скорости, остановились. Я со ступенек руки протянул, а она не хочет. «Сама,— говорит,— дойду. Мне тут недалеко, сразу за Карстами...»

Андросюк. Я ей из окна: «Садись, девонька, не бойся... Медведь там, не видишь? Ну садись, покажу». Села... Проехали мимо Топтыгина. Охотник мне: «Стрельнуть?» Теперь было не страшно, девочка в безопасности. «Давай!» — говорю. Долго целился, пальнул, попал. Щекотнуло медведя, мотнул мордой, повернулся и заковылял в лес. На тепловоз все оглядывался. У них, говорят, у медведей, любопытство к технике. А мы помчались к Карстам, спешил я перегон освободить. Но на станции притормознул, остановился. Охотника ссадил. И девочку дежурной показал. Не зря, мол, ездил, убедитесь. А она девчушку увидела, руками всплеснула: «Так это ты, Леночка, моя дорогая, не знала я...»

Лена. Наша соседка тетя Катя. Двое ребятишек у нее.

Андросюк. До казармы еще с километр. У самой она дороги. Подъехал, вижу, женщина на крыльце.

Лена. Мама моя стояла, она уже в обход собралась, с фонариком.

Андросюк. «Принимайте,—крикнул,— дочку в полном порядке».

Лена. Соскочила я, домой побежала, к маме...

Андросюк. А мы — в депо.

Все ураганы в лицо

Определяя характерные черты личности Михаила Васильевича Фрунзе, М. Колесников пишет о его «военной эрудиции, энергии, его организаторских способностях, умении почти мгновенно постигать сущность любого факта, гибкости ума, а главное, особом таланте приводить в движение массы». Все эти качества главного героя, революционера-профессионала, раскрываются на протяжении повести, охватывающей события между 1907-м и 1917 годами.

Дважды выносила Фрунзе смертный приговор царская охранка и дважды вынуждена была отменять его. В тюремных досье писали, что он «имеет склонность к побегам», держали под строжайшим надзором — и не смогли удержать. Семь лет, проведенных Фрунзе в тюрьмах, не вычеркнуты из его жизни: автор повести показывает огромную организаторскую и агитационную работу, которую Фрунзе вел не только среди политических заключенных, но и среди уголовников. Удивительное обаяние его личности, его умение убеждать, «крупность натуры», подмеченная профессором Ковалевским еще в годы учения Фрунзе в Политехническом институте, делали его вожаком всюду, где бы он ни очутился.

Оставаясь всегда человеком непреклонной воли и поразительной стойкости духа, Фрунзе в самые тяжелые моменты своей жизни, даже в камере смертников, продолжал читать, изучать иностранные языки, расширять свои познания в области военного дела, глубоко понимая, как они необходимы революционеру. И везде — в страшных условиях каторги, в сибирской ссылке — он черпал новые силы, читая работы Ленина, размышляя над ними, вспоминая свои встречи с Лениным в Стокгольме на IV съезде РСДРП.

Верный ленинец, стойкий большевик, Фрунзе беспощадно боролся против меньшевиков и эсеров, засевших в организациях Минска после Февральской революции.

Стремясь как можно полнее и глубже раскрыть характер героя своей повести, М. Колесников показывает его в действии: среди рабочих Шуи и Петровского завода, на фронтах империалистической войны и во главе сводных отрядов народной милиции в Минской губернии. Сама действительность предреволюционного десятилетия оживает в повести, и в нарастающей буре революции, противостоя всем ураганам, бьющим в лицо, живет, действует и борется Михаил Васильевич Фрунзе. «Он был продуктом революции, рожденным ею и для нее. Ведь каждая эпоха порождает свой, особенный тип людей, предельно выражающих своим творчеством ее дух, ее устремления».

Н. ЦВЕТКОВА

М. Колесников. Все ураганы в лицо. (Страницы жизни М. В. Фрунзе.) «Знамя» №№ 4—6. 1969 г.

ГАЗЕТНАЯ СТРАНИЦА

Вышла газета. Очередной номер. Утром — не как редактор, а как читатель — я беру газету в руки и размышляю о том, что рассказывает она сегодня о жизни нашей республики. Первая полоса. Никаких сенсаций. Повседневные события. Но осмысливший их поймет, как много за ними важного, большого, характерного для кипучей советской повседневности. Трудовые достижения, упорные поиски, неостывающий ритм соревнования, а за всем этим — удивительные перемены, к которым мы уже настолько привыкли, что принимаем их как само собой разумеющийся итог наших дел. Само собой разумеющийся... Это можно оценить по-разному. Посетовать: трудно стало чем-нибудь удивить читателя! Порадоваться: хорошо, что достижения перестали восприниматься как чудо.

Свежий номер газеты в руках... Там, где мы сообщаем об успехах года ленинской ударной работы, небольшой текст и две фотографии: в Минске завершается строительство завода объемного домостроения. 100 тысяч квадратных метров жилой площади в год — такова его программа-минимум. Из цехов на строительные площадки будут поступать готовые комнаты, кухни. Монтажникам останется только «сложить кубики» — и дом готов.

Сто тысяч квадратных метров жилья в год. Размах! Типичный для наших ударных темпов. По-другому нам просто нельзя. 209 городов и районных центров было сожжено и разрушено в Белоруссии в годы гитлеровского нашествия. За послевоенные годы они не только восстановлены, но и разрослись, приобрели современный облик. В Минске недавно были созданы два новых района, а число жителей столицы республики приближается к миллиону. На карте Белоруссии обозначились юные города — Новополоцк, Жодино, Солигорск, Белоозерск, Светлогорск... Республика строится и строит. И сообщение о минском заводе объемного домостроения — лишь один из фактов, иллюстрирующих размах наших замыслов.

...Передовая статья. Научный поиск в высшем учебном заведении. И опять характерная деталь. Мы уже не довольствуемся «валовой» подготовкой специалистов для различных сфер народного хозяйства. Мы нацеливаем вузы на то, чтобы они прививали своим воспитанникам вкус к исследованиям, учили дерзать. В связи с этим газета рада отметить, что в Минском радиотехническом институте взят именно такой курс: конструкторское бюро при научном студенческом обществе крепко связано с производством — в прошлом году 80 процентов дипломных работ было выполнено на темы, продиктованные его нуждами.

Стремление шагать в ногу с жизнью, совершенствовать методы труда, управления производством, воспитания людей подчеркивается и в других материалах: об успехах гродненских обувщиков; об осенних хлопотах сельских тружеников; об учебе пропагандистов в Минске.

Не случайно мы вынесли на первую полосу сообщение о пребывании в Белоруссии делегации Всенародного комитета болгаро-советской дружбы: расширение культурных, экономических, научных связей республики с зарубежными странами — яркая примета ее нынешнего дня. Маленькая заметка, а как легко ее «развернуть» в большой и убедительный рассказ. Даже самые развитые капиталистические страны проявляют интерес к знаменитым «Белазам», к станкам минских, витебских, гомельского заводов. В белорусских городах проходят научные совещания с участием зарубежных ученых. На Минский тракторный завод приезжают за опытом тракторостроители из дружественных государств. В наших вузах учатся студенты-иностранцы, а дети наших зарубежных друзей отдыхают в пионерских лагерях на Нарочи, на Немане, Березине...

...Одна полоса республиканской газеты. Она повествует о самом главном: о стремлении советских людей к тому, чтобы каждый день был прожит по Ильичу.

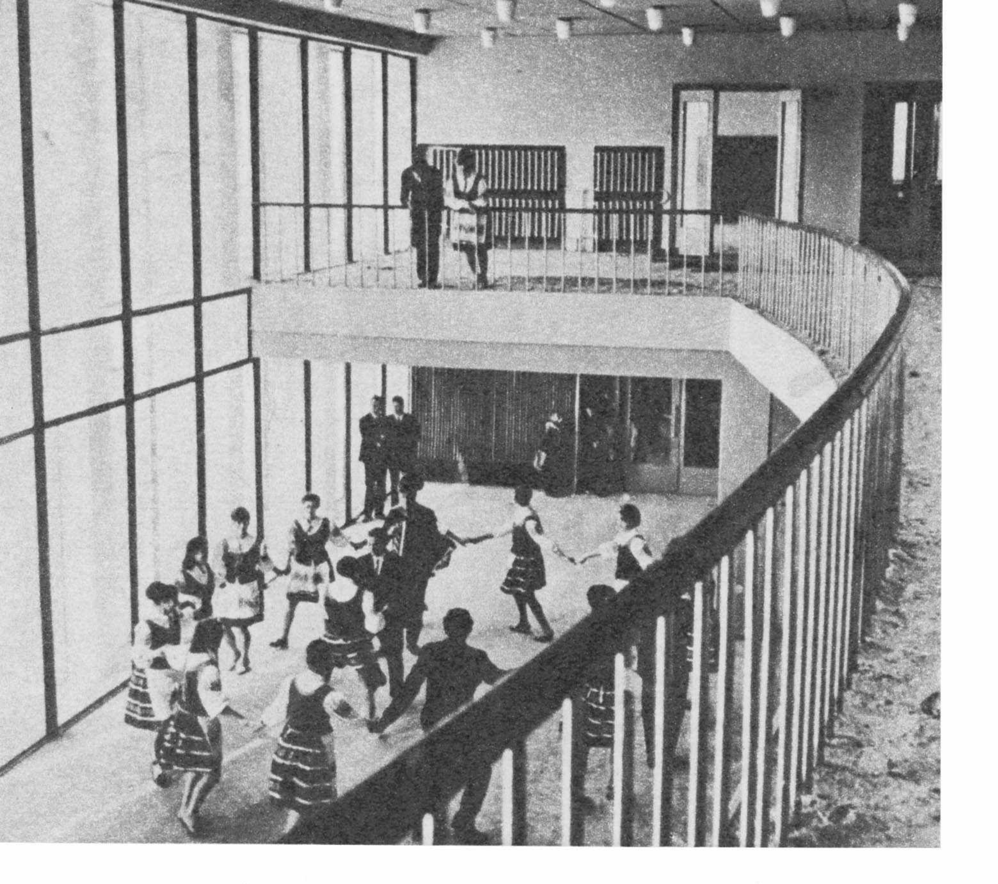
М. ДЕЛЕЦ,
редактор газеты «Звязда»



Памятник В. И. Ленину в Минске.
Фото М. Савина.



РЕСПУБЛИКА В ЭТИ ДНИ



ЕСТЬ ТАКОЕ СЕЛО...

Сейчас это село на Могилевщине называется Ленино — так в первые годы Советской власти решили наименовать его крестьяне. Там, где раньше были подслеповатые хатенки, стоят добротные дома. В селе просторная школа, Дом культуры, комбинат бытовых услуг, универсальный магазин, детский сад, ресторан, больница. Все это — для тружеников совхоза «Ленино». Почти на пятнадцати тысячах гектаров раскинулись его пашни и луга, сады и огороды. На животноводческих фермах — тысячи голов крупного рогатого скота, свиней. В совхозе — 35 тракторов, 25 автомашин, 23 комбайна, около 200 электродвигателей, много другой техники.

...Непрост, нелегок был путь, которым пришли к этому жители села. Немало жертв понесли они в борьбе с кулачьем; в годы Великой Отечественной войны многие селяне не щадя жизни сражались с фашистскими захватчиками. Дотла сожгли гитлеровцы деревню, разграбили ее, но главного отнять не смогли: веры людей в Советскую власть, в правоту идей Владимира Ильича Ленина. Раны войны залечены. Село Ленино возрождено и стало еще краше, чем было. В первые годы Советской власти рабочие совхоза послали В. И. Ленину телеграмму, в которой обещали примерным трудом обеспечить расцвет совхоза. Слово свое они сдержали!

На снимке: в фойе Дома культуры.

Фото Н. Желудовича (ТАСС).

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДВУХТЫСЯЧНЫЙ...

Семь лет назад в Гомеле создали лабораторию по исследованию полимеров. Она начала свою жизнь в небольшом помещении и насчитывала всего восемь сотрудников. На базе лаборатории возник Институт механики металлополимерных систем Академии наук БССР. Тут свыше 200 научных работников. На их вооружении самая передовая техника, новейшие аппараты, приборы.

Более 100 авторских свидетельств и патентов получено коллективом этого института. И не случайно именно в Гомеле был проведен международный симпозиум о природе трения твердых тел. Около пятисот ученых и инженеров нашей страны, а также их зарубежные коллеги из Болгарии, ГДР, Польши, Англии, Австралии, Голландии, Италии, США, Франции и ФРГ приехали в наш город.

После осмотра лабораторий французский ученый профессор Р. Куртель достал из своего портфеля великолепно изданную книгу и преподнес ее в подарок молодым белорусским ученым.

— Это книга о Париже двухтысячного года,— сказал он.— Мне в высшей степени приятно подарить ее вашему институту, потому что здесь, у вас, я уже побывал в двухтысячном году. То, о чем мы еще только мечтаем, у вас уже можно увидеть наяву.

Возможно, что французский ученый несколько преувеличивал. Но повод для удивления действительно есть. В некогда небольшом белорусском городе, где до революции не было ни одной научной лаборатории, ни одного высшего учебного заведения, сейчас плодотворно действует институт, признанный в нашей стране одним из ведущих центров в исследовании металлополимерных материалов и конструкций.

Г. РОЗИНСКИЙ,
сотрудник газеты
«Гомельская правда»

На снимке: проект лабораторного корпуса Гомельского института механики металлополимерных систем Академии наук БССР.



Басси принимает поздравления

Темпераментно жестикулируя, юноша из Нигерии читал стихи. И совсем не ожидал будущий специалист по автотракторному оборудованию, что его творение так понравится белорусским друзьям. Самуэль Басси Уморен смущенно улыбался, принимая поздравления. Начинающий поэт свое первое произведение на русском языке посвятил Владимиру Ильичу Ленину.

Декан факультета Белорусского политехнического института Леонид Игнатьевич Волохович познакомил меня с Самуэлем и его товарищами из стран Африки. Все они довольно хорошо говорят по-русски.

— Удивляться не надо,— предупредил Сампсон Ампонса, посланец Ганы,— все мы подписались бы под строчками вашего поэта: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин...»

Недавно в Минске и Москве он прочитал свой доклад «Социально-политические проблемы развивающихся стран Африки», в котором рассказал о влиянии ленинских идей на национально-освободительную борьбу народов, угнетаемых империализмом.

На интернациональную научно-теоретическую конференцию в Белорусском политехническом институте, посвященную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, было представлено много интересных исследований. Авторы этих докладов — молодые болгары Пешо Пешев, Виктор Петров и Тотко Димов, афганец Шариф Асадула, венгр Мартен Немет, цейлонец Кандевалла Гаутамадас, кубинец Хуан Васкес и другие студенты.

В. ФРЕЙДИН,
заведующий отделом информации
газеты «Вечерний Минск»



Советуясь с Лениным.

Фото Н. Ходасевича.

ГОРИЗОНТЫ НЕФТЯНИКОВ

На переднем крае... Это не только в переносном, но и в прямом смысле. Ведь там, где разведчики недр ведут поиски и добычу нефти, в годы войны в белорусском Полесье проходил передний край. Сначала, в 1941 году, передний край обороны, затем — край партизанский, в 1943 году — передний край наших наступающих войск и, наконец, сейчас — передний край штурма сокровищ белорусской земли.

Сравнение с передним краем приходит в голову еще и потому, что сегодня, как эхо войны, гремят взрывы на старых фронтовых рубежах. Впереди строителей новых нефтепроводов идут солдаты саперного подразделения. Они прощупывают каждый метр земли, чтобы без опаски работали экскаваторщики и трубоукладчики, сварщики и бульдозеристы.

Напряженный труд приносит свои плоды. На полную мощность действует нефтепровод Осташковичи — Речица, идет строительство нового нефтепровода.

На каждой буровой «Беларусьнефти», в каждой бригаде люди стали на ленинскую вахту. Бригада бурового мастера А. Б. Сергунина в прошлом году участвовала в добыче трехсотмиллионной тонны нефти. И красный вымпел в бригадном домике в память об этом событии все время зовет бурильщиков вперед. Раньше срока сдана одна скважина, на очереди вторая. Интересная деталь. Скважина № 1 была ликвидирована как бесперспективная. Но люди с этим не смирились. Они применили законтурное заводнение, химическое воздействие на продуктивные пласты — и добыча нефти возобновилась.

Вместе с нефтью белорусские месторождения дают попутный газ. С прошлого года он используется не только для бытовых нужд, но и для снабжения дешевым топливом промышленных предприятий Речицы. А на очереди газопровод к Василевичской ГРЭС.

Геологи усердно продолжают поиск новых нефтеносных площадей. И не впустую. Если первая нефть Белоруссии пять лет назад была получена с двух горизонтов, то сегодня у нефтяников своеобразный «слоеный пирог» — шесть нефтяных горизонтов.

Р. ГРИГОРЬЕВ

▶

На снимке: прокладка нового нефтепровода.

Фото П. Белоуса.



Поет дудка-жалейка

Дудка-жалейка испокон веков укоренилась в быту белорусов. Под звуки жалейки гнали пастухи скот в луга, плясали крестьяне на свадьбах, праздновали рождение нового человека. Лучшие белорусские поэты воспевали дудку в стихах... Постепенно стала забываться жалейка. Сейчас в Белоруссии мало мастеров-дударей.

И вот директор Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного, режиссер народного театра Зинаида Иосифовна Романенко попросила Климентия Ивановича Леткевича — ученика знаменитого дударя Остpейки, чью музыку знала вся Беларусь, организовать в школе ансамбль дударей. Климентий Иванович взялся за дело.

Школьный ансамбль «Колос» быстро приобрел известность. В прошлом году на республиканском смотре художественной самодеятельности ему присудили диплом.

Примеру Тимковичей последовал Копыль. Сергей Нестерович Рончик — тоже ученик Острейки — создал ансамбль в районном центре. И этот ансамбль также получил признание в республике.

Сейчас оба коллектива готовят программу к ленинским торжествам.

А. СИДОРОВИЧ,
заведующий отделом информации копыльской газеты «Слава праце».



ЗВЕЗДЫ НАД ЛУКОМЛЕМ

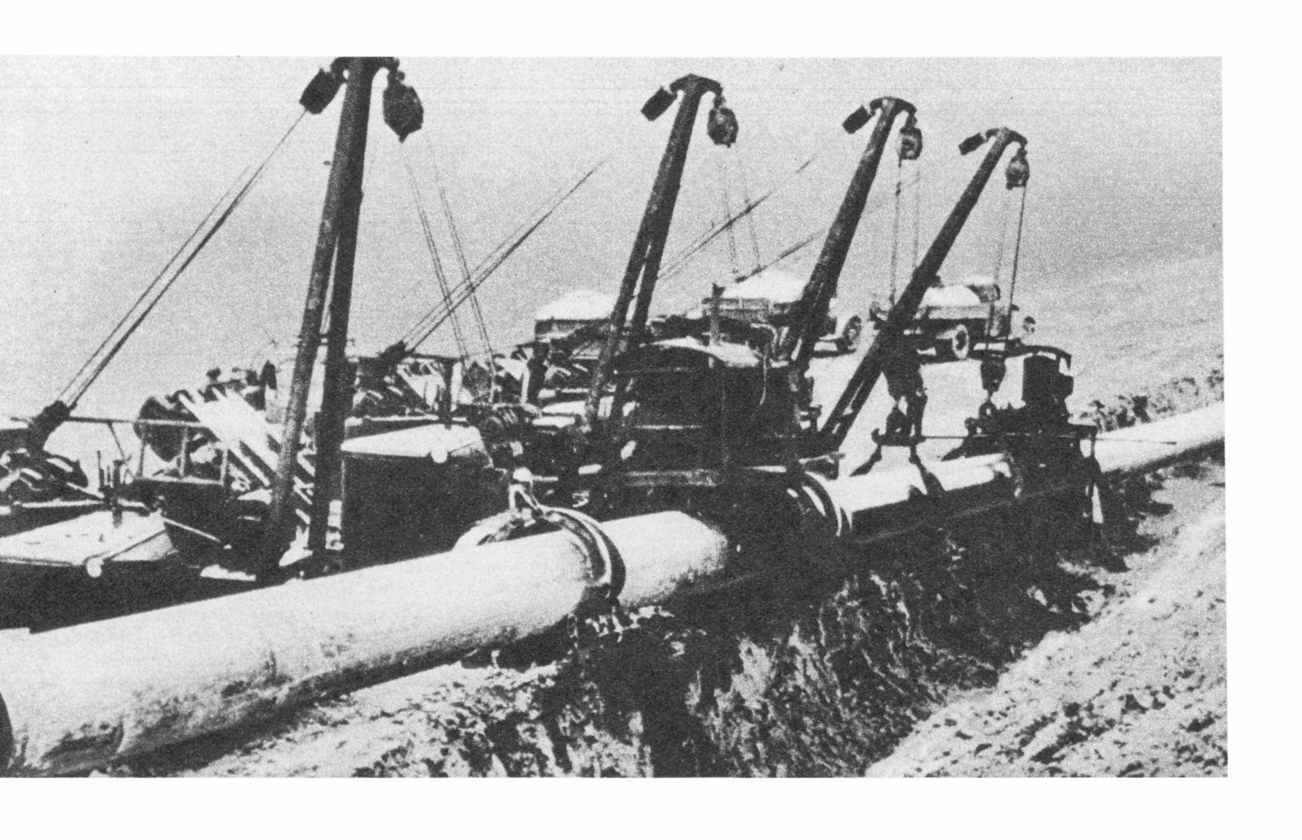
Богата Беларусь озерами. И среди них жемчужина первой величины — Лукомль. На берегах его воздвигается ГРЭС. Ее мощность — 2 миллиона 400 тысяч киловатт. Но уже разрабатывается проект увеличения мощности до 3 миллионов 600 тысяч киловатт.

В главном корпусе полным ходом монтируется первая турбина и котел. До сих пор окончательная отделка внутренних поверхностей топки котла проводилась после завершения его монтажа. А тут решили провести отделку предварительно на сборочной площадке, а затем блоки топки монтировать в готовом виде. Попробовали. Получилось. Выиграли несколько драгоценных дней.

Пройдет несколько месяцев, и Лукомль включит свою энергию в единую энергосистему Европейской части СССР. Линии электропередач напряжением от 110 до 330 тысяч вольт свяжут ГРЭС с Минском, Могилевом, Полоцком, Витебском, Смоленском и другими городами страны.

Владимир ГОЙТАН,
заведующий отделом писем чашникской районной газеты «Чырвоны прамень».

На снимке: бригадир монтажников Николай Панчук.
Фото А. Мызникова.



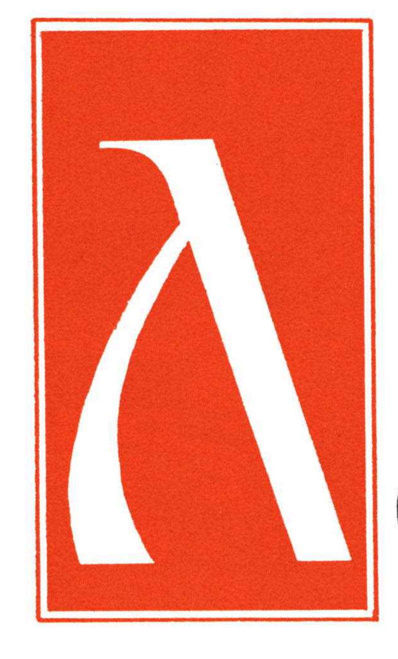
БЛИКА В ЭТИ ДНИ

Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА.

Ник. КРУЖКОВ

Проповедь советского патриотизма не может быть оторванной, не связанной корнями с прошлой историей нашего народа. Ведь советский патриотизм является прямым наследником творческих дел предков, двигавших вперед развитие нашего народа.

М. И. Калинин.



Лепота

Лепота — старинное русское слово, обозначающее красоту, прелесть. Оно давно вышло из употребления, но почему-то именно это звонкое слово вырвалось у меня, когда я увидел выставку «Культура и искусство Древней Руси». Лепота! Можно было часами ходить по огромным залам Манежа, где разместилась выставка, и чувствовать, как замирает сердце и мысли уходят куда-то вдаль, в глубину веков, в жизнь, навсегда ушедшую, но давшую корни и соки для нашей современной жизни, оставившую нам в наследство, в пользование и в уразумение свое искусство, свои эстетические и нравственные понятия, свидетельства культуры людей, живших давно-давно до нас, наших прапрадедов, работников и воинов; живописцев, древоделов, чеканщиков; колокольных, пушечных и оружейных мастеров; каменосечцев, косторезов, гончаров, искусников скани, зерна, черни, финифти и всякого узорочья — созидателей земли русской, умевших построить церковь без единого гвоздя или дать каменному зданию все архитектурные черты деревянного зодчества, сооружавших величественные соборы и могучие крепостные стены, горячо любивших, храбро оборонявших и расширявших свою Русь, нашу Русь.

Искусство и культура Древней Руси оставили нам драгоценные свидетельства великой духовной мощи русского народа, наполняющие нас, отдаленных потомков, чувством гордости за дела своих предков.

Медленно, терпеливо набирало силы Московское государство. Еще висело на плечах тяжкое татаро-монгольское иго, еще разбойничали ханские баскаки по городам и весям, собирая ясак и ясырь Золотой орде, еще то и дело вспыхивали междудельные княжеские распри, но все тверже становилась рука Москвы и вокруг стольного города все теснее сплачивалась русская земля. И уже на Куликово поле против несметных полчищ Мамая вышли и московские люди, и белозерские, и новгородские, и коломенские, и серпуховские, и переславские, и можайские, и углицкие, и владимирские, и муромские, и суздальские, и звенигородские — со всех концов земли сошлась рать. Софоний рязанец в слове о Куликовской битве, «Задонщине», писал: «А посечено от безбожного Мамая полтретья ста тысяч и три тысячи. И помиловал бог Русскую землю, а татар пало бесчислено многое множество... Поганые оружие свое повергоша, а главы свои подклониша под мечи русские. Трубы их не трубят, уныша гласи их...»

Как отметил Карл Маркс, изумленная Европа в начале княжения Ивана III, едва ли знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных рубежах.

Уровень грамотности в Московской Руси, которой в скором времени суждено было получить гордое имя Россия, был вряд ли ниже, чем в Западной Европе. И это несмотря на тягчайшее разорение и бедствия, какие принесло с собой татарское нашествие и трехсотлетнее татарское иго.

Конечно, просвещение тех времен несло ярко выраженный церковный характер, но тем не менее московская славяно-греко-латинская академия, открытая в 1687 году, была таким серьезным учебным заведением, что один из ее учеников, Петр Постников, получил докторскую степень в Падуанском университете — первый русский, достигший такого звания!

Древняя Русь дала человечеству блистательные произведения литературы. Безвестный автор «Слова о полку Игореве» был, несомненно, величайшим писателем своего времени. Такие превосходные произведения, как «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о Куликовской битве Софония рязанца», «Повести об Азовском взятии и осадном сидении», полемические статьи Ивана Грозного, «Повесть о Горе-Злосчастьи», сочинения протопопа Аввакума, личности глубоко реакционной, но чрезвычайно одаренной, огромное тщательное и многообразное летописание—все они свидетельствуют о большой культуре Древней Руси.

Первая печатная книга Ивана Федорова и Петра Мстиславца, «Апостол», была издана с таким искусством и тщанием, что поразила не только соотечественников, но и иностранцев. Достаточно сказать, что в ней не оказалось ни одной корректорской ошибки — урок, пожалуй, полезный и для нас.

Реформы Петра были подготовлены всем ходом исторического развития страны и вовсе не явились громом среди ясного неба. Они перевели просвещение на светские начала, открыли дорогу техническим и естественным наукам и резко сузили рамки богословия, и в этом их величайшее значение.

Искусство Древней Руси удивляет своим великолепием, и оно не явилось лишь плодом наития, чудом среди пустыни, а возникло в результате накопленных знаний, опыта, упорного совершенствования, огромного труда и большой творческой одаренности народа.

Мне никогда не понять людей, равнодушных к старине, хотя такие и есть, и не только среди молодежи. Ощущение связи времен мне представляется необходимым человеку, ибо это умножает его силы, делает осмысленной жизнь, укрепляет веру в свой народ. Лишенный этого ощущения напоминает горькую сироту, не знающего ни отца, ни матери. О Московском Кремле Виссарион Белинский писал: «Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль! Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я не могу истолковать себе тех чувств, какие возбуждаются во мне при взгляде на Кремль. Вид их погружает меня в сладкую задумчивость и возбуждает во мне чувство благоговения. С почтени-

Москва. Кремль. Медведь, охраняющий часы на Спасской башне.

Колокол прорезной. 1687 г.
Село Медведково.

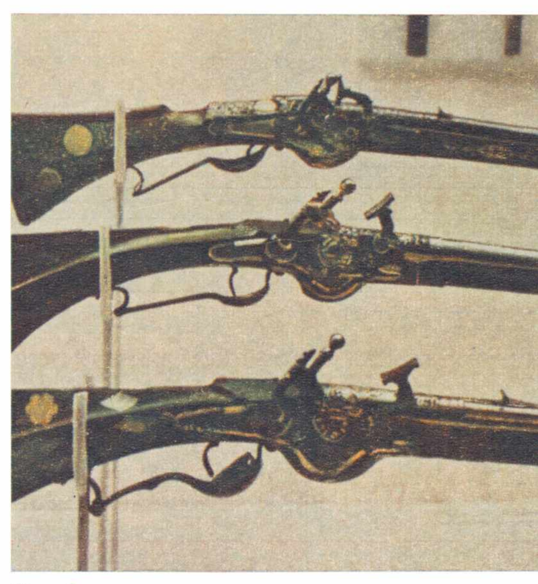




Кольчуга-панцирь. XVII век. Москва.



Львы. XVII век. Дерево.



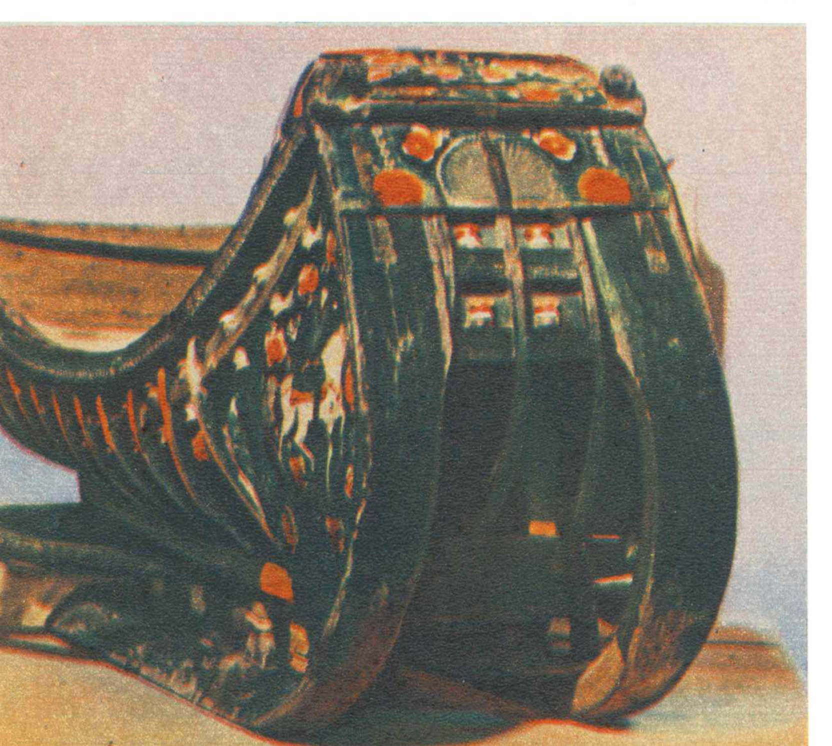
Карабины и охотничье ружье.
XVII век.

Двери решетчатые. 1677 г.
Симоновский монастырь.



Резные украшения с фасада крестьянской избы. 1872 г.
Горьковская область.

Сани расписные середины XIX века.
Костромская область.



Круг-солнце с мачты волжского судна. XVIII век.





Крестьянские костюмы XIX века.

Туески.

Иконы. XIII век.





Евангелие оклад. 1683 г. Москва.



Кокошники. XIX век. Москва.

Кадило. XVII век.



Резная дверь (дерево).





Замки секирные.
XVII век.

Прялки. XVIII—XIX век.
Север и Верхнее
Поволжье.

◀ Фонарь выносной.
XVII век.

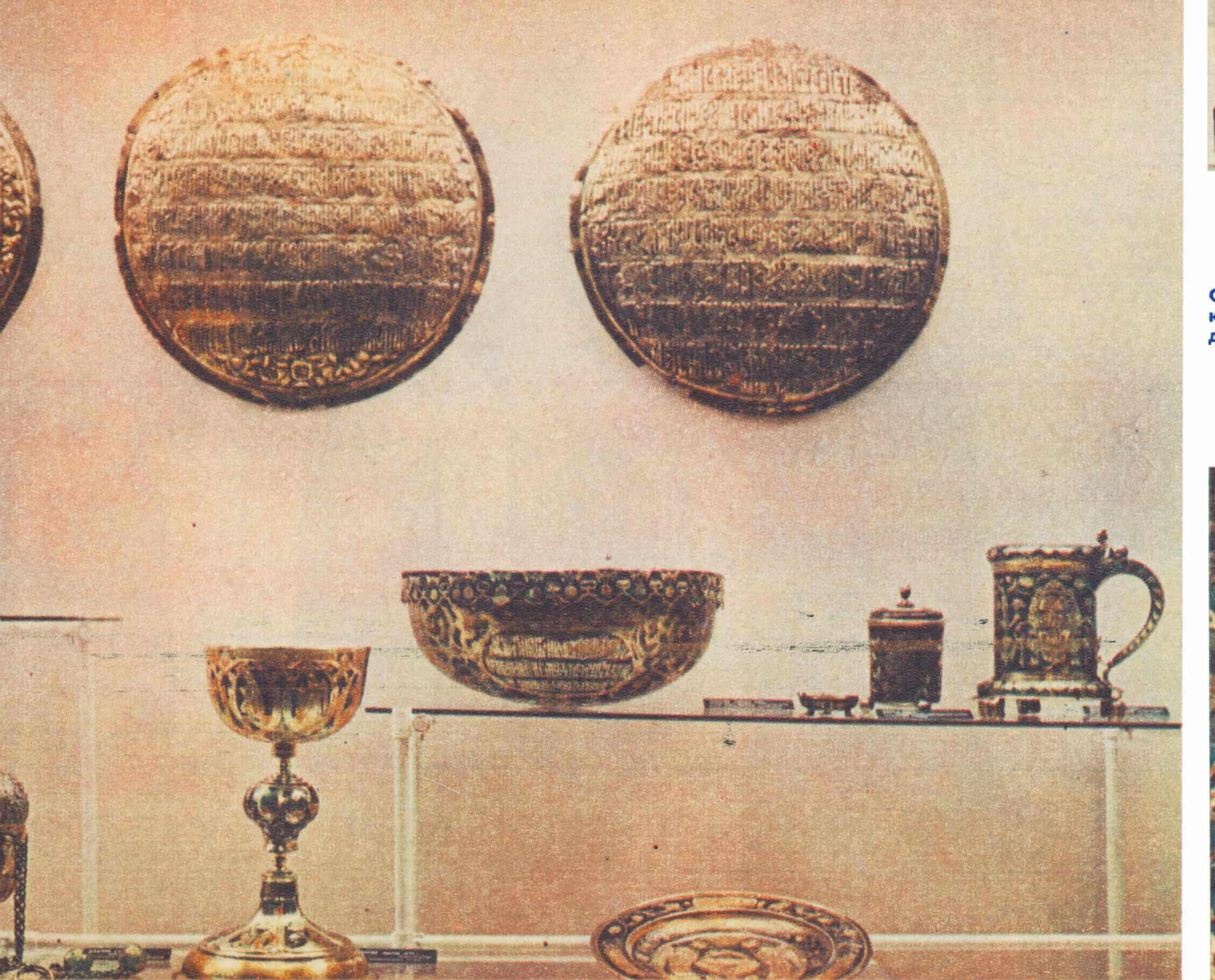


Каменная баба. XI—XII век.

Ново-Девичий монастырь (музей).

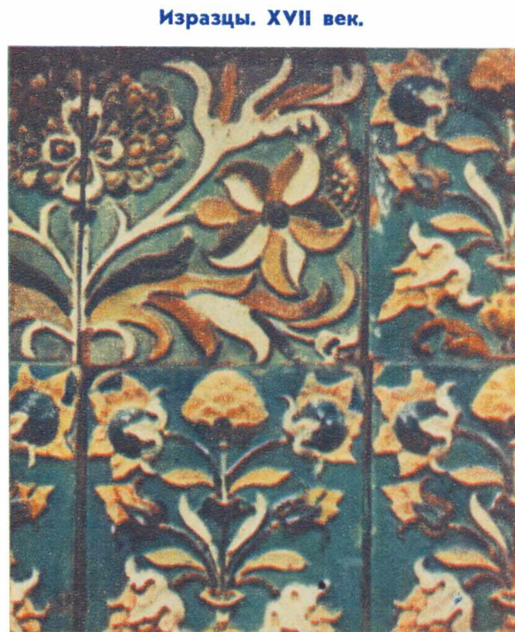


Ларец-«Теремок». XVII век.



Серебряные изделия: клейма с гробниц, блюдо, чарка, чаша. XVII век.

Изразцы. XVII век.



ем смотрю я на их старинную архитектуру. Вид их переносит меня в священную древность».

Это писалось более 100 лет тому назад. Какие же чувства возбуждались у древнего московского жителя или заезжего откуда-нибудь человека при виде могучего Кремля, возвышавшегося над старой деревянной по преимуществу Москвой, с ее бесчисленными переулками, проездами, слободами, посадами, лавками, кривыми уличками. Кремль, как золотой богатырь, прекрасный в своем величии и мощи, утверждал в людях гордость за свое отечество; стоит Кремль, стоит Москва, людям на радость, врагам на устрашение — Русь может быть спокойна!

Вот и наши потомки в новой, еще более прекрасной Москве будут любоваться Кремлем с чувством благоговения и почтения. Ведь для них Кремль не только древность, но и неистощимый источник новой жизни: здесь жил и работал Ленин, здесь создавалось то, что утвердило новый социальный строй.

Мы бережем Кремль, и они будут его беречь. Так пролагаются мосты между отдаленным прошлым, настоящим и будущим.

Когда разглядываешь старинную вещь, то она вызывает в воображении картины давно отшумевшей жизни, и ты сам как бы становишься участником отдаленных от твоего времени событий. Кольчуга-панцирь XVII века, сплетенная и выкованная добрыми мастерами, сама по себе может быть названа искусным изделием, не больше. Но если представить себе, что в этой кольчуге русский воин шел в бой, штурмовал стены Смоленска, что под этой кольчугой билась его горячая кровь, что руки его сжимали тяжелый бердыш или пищаль, что искусная эта кольчуга не поддалась вражескому сабельному удару и спасла жизнь воину, может быть, твоему прапрадеду, то изделие это станет выглядеть совсем по-другому. Она явит вам образ человека. И человек этот сделается для вас дорогим, понятным, хоть и жил он триста лет назад — стоял воин на защите своей Руси, нашей Руси.

Можно смотреть на старинный прорезной колокол и удивляться мастерству колокольных умельцев, а можно при этом и увидеть жизнь, свидетелем которой был колокол из подмосковного села,— стрелецкие бунты, народные волнения, услышать его сполошные звоны, набатные вопли... Ведь колоколам-то иногда и языки рвали, и в Сибирь колокола ссылали, и били их батогами за участие в людских делах.

Можно легко оставить без внимания невзрачный кусок бересты, найденной при раскопках, а можно, внимательно вглядевшись в нее, обнаружить документ давно ушедшей жизни. В Новгороде сравнительно недавно были найдены в большом количестве берестяные письма XIII—XIV веков. Вот одно из них: «от Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле». Грамотеев в торговом многолюдном Новгороде было немало. А язык, как видите, тот же, русский, и в переводе не нуждается.

Как прекрасна древняя русская иконопись! Начав с подражания строгим, суровым и твердо регламентированным византийским образцам, русская иконопись постепенно отходит от заданных канонов, сближается с реальной жизнью, наполняется бытовыми подробностями, становится воодушевленной, радостной, светлой, овладевает цветовой гармонией, ритмом линий. Художественная речь иконописи, разумеется, остается своеобразной, но для того, кто умеет ее постичь, открываются, по выражению В. Н. Лазарева, «такие красоты, которые дают полное основание отводить русской иконе почетное место в кругу памятников средневековой живописи».

Время донесло до нас великолепные творения Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия и его сыновей, Владимира и Феодосия, и многих, многих других, имена которых, увы, канули в вечность, оставшись неизвестными потомкам. Иконопись Андрея Рублева И. Грабарь назвал «блестящим взлетом», но справедливо при этом заметил, что взлет этот был подготовлен трудами не одного поколения иконописных мастеров.

Ромен Роллан заметил: «Шедевры Рублева сохранятся в моей памяти как выражение всего самого чистого и самого гармоничного в живописи».

Иконопись наложила отпечаток на все русское национальное творчество, ушла в народ, породила целые ветви своеобразного искусства. Достаточно вспомнить палешан, сумевших приспособить язык иконописи к выражению мыслей и вкусов современного нам человека. Палешанский живописный фольклор, если так можно сказать, наглядно показывает нам, какой гигантский творческий заряд был заложен мастерами древнего русского искусства, как сочна, пластична его речь и звучна до сих пор. В народе живут, народом сберегаются его традиции и приемы. До сих пор в северных наших селах по Сухоне, Двине и Печоре можно встретить туески, сделанные с таким мастерством, украшенные столь причудливыми узорами, что каждый из них выглядит законченным произведением искусства. Можно без конца любоваться прялками сельских умельцев, в которых отразилась буйная фантазия художника, снабдившего прозаический предмет и звездами, и солнцем, и орлами, и лебедями, и сотней всяких восхитительных выдумок,— работать на такой прялке весело и радостно. На каком-нибудь костромском или ярославском крестьянском дворе можно вдруг увидеть выездные сани, расписанные столь многоцветной ярью, что они более похожи на сказочную жар-птицу, которая вот-вот взмахнет крылами и полетит.

Свою избу наш волжский или вологодский крестьянин нет-нет да и украсит волшебной резьбой и притом так, что, запрокинув голову, вы будете долгий час с наслаждением рассматривать, что изображено на оконных наличниках, или на ставнях, или под крышей — тут и рыбы, и единороги, и чисто кружевное, тонкое сплетение деревянных узоров. Не перевелись у нас и до сих пор такие славные мастера! А корни их мастерства уходят в глубокую древность.

В каком селе — курском ли, калужском, воронежском — вы не найдете в бабушкиных сундуках красивую старинную одежду, тщательно сбереженную, с чудом-вышивкой, полной радостного, ликующего сверкания. В таком праздничном сарафане молодица выглядит красным солнышком, двигается свободно, просто и достойно. Радостно взглянуть на нее.

Все это, конечно, уходит — и безвозвратно. Теперь на сельской гулянке вы не отличите деревенскую девицу от городской — те же жакетки, туфельки, модная прическа. И тут ничего не поделаешь: любая борьба с модой заранее обречена на неудачу. Но тем более нам надо истово беречь все, что оставила нам старина, не транжирить это добро, не топтать эту красоту, отражена ли она в большом или малом — в прялке, сарафане, кокошнике или в древнем храме.

И отрадно, что теперь возникло и ширится, становясь подлинно всенародным, движение за сохранение, сбережение памятников и свидетельств старины. Вот в Москве разрушили и снесли Зарядье со всей его грязью, амбарами, лабазами, построили великолепную гостиницу из стекла и бетона, но древние церковки сохранили, подновили, и они теперь горят самоцветами на фоне жизни современного города. И не только не мешают ему, но придают его чертам яркую самобытность.

Разве плохо, что сохранен в Москве Новодевичий монастырь со своей 72-метровой колокольней, возвышающейся над окрестностями, подобно сказочному древу, наполненному красными и белыми цветами, со своим Смоленским собором, ставшим музеем, где собраны великолепные произведения старинной иконописи, изумительные по своему изяществу вышивки по тканям? Разве не порадует ваш взгляд каменное кружево церкви Покрова в Филях, с ее стройным, неповторимым силуэтом, с размашистыми лестницами и широкими площадками, с золотыми главами, со всей той свойственной ей выразительной поэтической силой, которая свидетельствует о могучем таланте зодчих-чародеев?! И не отдохнет ли ваш глаз и не взволнуется ли сердце в музее села Коломенское, что уже не под Москвой, а в самой Москве, и метро теперь тут пошумливает рядом, и многоэтажные дома скопились вокруг — древность и современность здесь в обнимку?!

Выставка «Культура и искусство Древней Руси» просуществовала не так уж долго, но она затронула душу москвичей, наглядно и ярко показала нетленную красоту старины и в тысячах людей возбудила желание познать и наслаждаться ею.

Ведь красота эта не в музеях лишь, а вокруг нас, рядом с нами. Далеко ли до Загорска с его музеем, древностями, храмами? Не один художник был вдохновлен этим необычайным скоплением архитектурных и иных сокровищ, созданных и собранных здесь,— и Юон, и Кустодиев, и Васнецов... Поезжайте в сказочный Суздаль, во Владимир, и вы погрузитесь в волшебный мир прелестной древности, и ухо ваше вдруг в этом городе, на речке Клязьме, будет поражено киевскими названиями: Золотые Ворота, Лыбедь, Ирпень; завезли сюда эти названия люди Владимира Мономаха, видимо, любили свой Киев — мать русских городов — и не без боли в сердце уходили на далекий Север. Поезжайте в Ярославль, город большой, прекрасный, где сочетается и древнее — кремль, старинные храмы — и новое, современное, индустриальное, да остановитесь по дороге в Ростове Великом, где блеснет перед вами, словно из сахара сделанный, сказочный ростовский кремль, и в Переславле-Залесском, где морем стелется Переславское озеро, на берегах которого рожден был российский флот, да и красавец Углич от этих дорог не так уж и далек. Поезжайте в Калугу — когда-то от царевых войск отсиживался там тушинский вор, лихой человек,— покажут вам в этом городе и дом Марины Мнишек, и дом, в котором жил Шамиль, гордый имам Дагестана и Чечни, отбывавший калужскую ссылку, и сохранившийся еще здесь «деревянный ампир» — недолго осталось жить этим домам,— и Гостиный двор екатерининских времен с его лоджиями и легкими перекрытиями. О том, что Калуга — колыбель нашей космонавтики и что там жил и творил великий Циолковский, я уж и не говорю: это всем известно.

Поезжайте в уютную, чистенькую, отмытую волжскими водами Кострому, в Вологду, которую царь Иван Грозный замыслил было сделать своей столицей, в Смоленск — город-страж русской земли, многожды сожженный, разоренный и встававший всегда из пепла, подобно Фениксу, в обновленной красе, побродите по подмосковным городам, таким, как Звенигород, Можайск, Дмитров, Бронницы,— и вы почувствуете вкус Руси, а приложив ухо к земле, услышите тяжелые шаги истории. Кто только не топтал эту землю, не покушался на нее, не грозил превратить ее в прах?

Но деды и прадеды наши, кровью своей поливая каждую пядь этой, не такой уж и богатой с виду земли, отстояли свою Русь. И отстояли и украсили! И отдали нам.

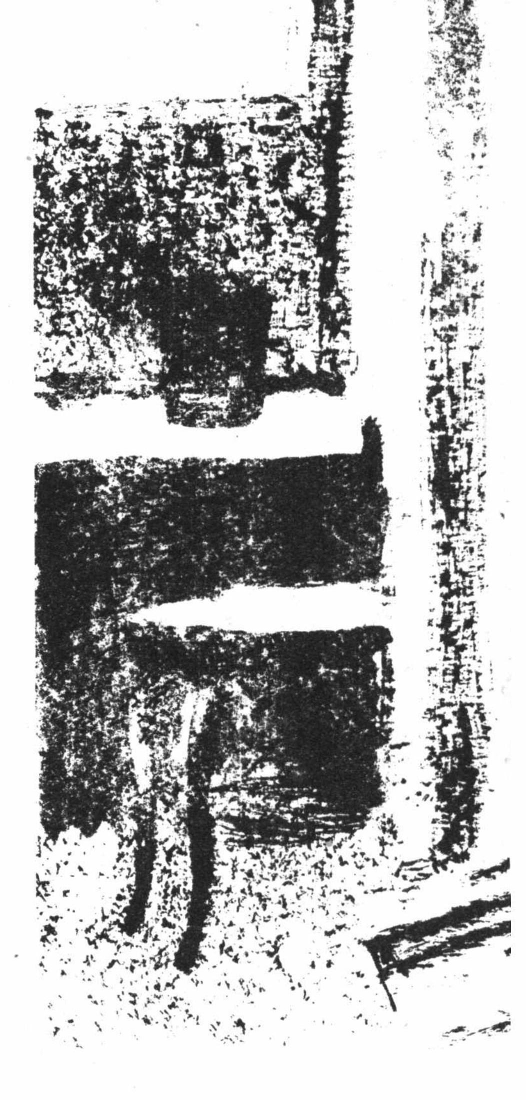
Может быть, кто-то, прочитав эти строки, скажет: уж больно много написано тут о церквах и иконах, не тянет ли автор нас назад, к религии, которая отживает свой век, к благостным молитвам, которые забыты? Ведь в колымаге прошлого далеко не уедешь.

Не надо ехать вперед в колымаге прошлого! Но надо уважать деяния предков, чтить их могилы, понимать стремления и идеалы своих прадедов и пращуров, ценить красоту, созданную ими. При всей силе религии и церковной обрядности в те времена храм ли, монастырь ли были не только «культовыми учреждениями», выражаясь современным языком. Монастыри и в осаду садились, и штурмы отбивали, и стерегли своими стенами и пушечным боем дороги, по которым двигался неприятель. Да и храмы были не только церквами, но и местом народных собраний, прибежищем, куда сходился и стар и млад подчас со всем своим добром и рухлядью. И просвещение начиналось оттуда, от монастырей, и летописцы годами сидели там над своими свитками, и поэты слагали под их сводами свои сказания, повести и вирши. Всему свое время!

А теперь, когда мы с невольным замиранием сердца входим, скажем, в храм Василия Блаженного, что на Красной площади, и предстает перед нами поэма, запечатленная в камне, отразившая чистую и светлую душу древних зодчих, шапка сама сваливается с головы, и старинное слово обретает вдруг новую силу выражения:

— Лепота!

ДОЧЬ КОМБРИГА



Анатолий АНАНЬЕВ

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА.

Привычный мир вещей и событий все эти дни не только не интересовал Шуру, но как бы не существовал более для нее; все, на что она смотрела, с кем разговаривала, что делала,— все происходило само собою, и выражение участия на ее лице было лишь тем щитом, который ограждал ее от проникновения в мир теперешних мыслей и чувств всего, что не было связано с думами и представлениями о Егоре. Она была счастлива, живя ожиданием счастья. Обращался ли к ней начальник паспортного стола или Анастасия Михайловна надоедала своей болтовней, Шура казалась внимательной, слушала, понимающе кивала головой, хотя почти ничего не воспринимала из того, что ей говорили. В душе постоянно шевелилось что-то несбыточно-радостное и отвлекало ее. Она думала о Егоре, вспоминала, и воспоминания ее, в сущности, не были для нее воспоминаниями, а были жизнью, какой она жила в этот день.

Вернувшись домой, Шура едва успела снять туфли и пройти в комнату, как у двери раздался звонок. Она никого не ждала, кроме Егора, и потому сразу же подумала, что пришел он.

— Так рано,—сказала Шура, открывая дверь и вся излучая счастье навстречу вошедшему. Но вместо Егора у порога стоял совершенно незнакомый пожилой человек.

— Вам кого? — меняясь в лице, спросила Шура.

— Александру Григорьевну Волох.

— Это я.

— Василий Сергеевич Варзин. Я к вам.

— Прошу.

Пока он входил, осматриваясь, ступая осторожно и неторопливо, как обычно входят люди в незнакомую квартиру, пока в комнате долгим и внимательным взглядом, будто отыскивая знакомые черты в Шурином лице, смотрел на нее, Шура мгновенно охватила мысленно все, что было в ее жизни (что могло привести сюда неизвестного ей Василия Сергеевича), и не нашла ничего, что хотя как-то объяснило бы ей его появление. Это вызвало в ней беспокойство, тревожное предчувствие. Заметив, как гость посмотрел на нее — прямо и пристально,— Шура еще больше встревожилась. «У меня есть для вас такое, о чем вы не подозреваете, но прежде я хочу убедиться, с той ли я имею дело, кому должен раскрыть все»,— говорило выражение его глаз. Василий Сергеевич волновался, и чуть вздрагивавшая от напряжения жилка на щеке выдавала его волнение. Шура видела и чувствовала это, и волнение невольно передавалось ей. Кто он? Неожиданно вспомнились слова Анастасии Михайловны: «Тебя разыскивает родственник». «Нет!» — тут же сказала она себе, еще более бледнея от беспокойства. «Нет, нет»,— повторила, совершенно оглушенная догадкой. Теперь Шура старалась вспомнить, что же еще говорила вчера Анастасия Михайловна; вместе с тем пристально всматривалась в вошедшего, словно тоже хотела отыскать в нем знакомые и близкие черты. Еще в дверях Шура заметила, что голова его была седая, но теперь видела, что волосы были совершенно белые и, наверное, шелковистые, особенно с той стороны, от окна, на которую падал свет. «Боже мой, кто же он?» — продолжала спрашивать себя Шура.

Между тем Василий Сергеевич Варзин не был ни ее отцом, ни родственником. Он был одиноким пенсионером и жил в Сарханах, небольшом и глубинном районном центре, занимая отведенную ему комнату в доме брата. Дом стоял на окраине, заслоненный от дороги кустами сирени, поглощавшими обильную, особенно в осенние дни, пыль от беспрерывно проезжавших и гудевших грузовиков. Огород с несколькими кустами тощих яблонь, грядками капусты, густой и зеленой картофельной ботвой выходил к реке, неширокой в этом месте, стесненной крутыми глинистыми берегами. Дальше, за рекой, был редкий смешанный — береза с дубом — лес. Лес этот был самым любимым местом Василия Сергеевича. Прогулки по нему, долгие и государственные разговоры с объездчиком составляли теперь главный смысл его жизни. «Ведь вот, черт, ведь все понимает, что к чему, а прикидывается, притворяется: отчего это да отчего то в районе не так да не эдак»,— говорил себе Василий Сергеевич, сидя вечерами у раскрытого окна и вспоминая объездчика. В разъяснении, в растолковании всего, в воспитании бодрого духа у объездчика находил свое удовлетворение Василий Сергеевич. Но так было летом; зимою же, когда все вокруг заваливалось снегом, когда разыгрывались на неделю, на две метели или давили морозы, так что чернели лица людей и над всеми Сарханами, особенно по утрам, как столбы, застывали над избами серые ленты дыма, жизнь будто останавливалась для Василия Сергеевича. Он чувствовал себя больным и старым и тяготился бездельем. Но вскоре пенсионер нашел себе занятие, которое на многие годы захватило его. Давно уже замечено, что каждому человеку прожитая им жизнь представляется значительной, если и не отражающей всей сущности его времени, то, во всяком случае, характерной и поучительной. Василий Сергеевич не был исключением и, как тысячи нынешних пенсионеров, принялся описывать месяц за месяцем все, что он делал, с кем встречался и о чем думал тогда, в прошлые и деятельные годы своей жизни, когда он был комиссаром в кавалерийской бригаде, которой командовал известный комбриг Григорий Волох. С того дня, как Василий Сергеевич принялся писать мемуары, он как бы весь погрузился в прошлое и был счастлив, живя воспоминаниями. Сам того не сознавая, он стал одним из тех собирателей истории, которые безвестны и незамечаемы в жизни, но труд которых, как труд пчел, сносящих нектар, необходим и важен. Василий Сергеевич писал о себе, о людях бригады, о том, как она создавалась, о первом впечатлении, которое произвел на него комбриг Волох в день их знакомства, когда тот принимал бригаду, и о дальнейшей службе, когда командир день за днем как бы раскрывался перед ним, комиссаром Варзиным, и перед своими солдатами, показывая удивительные и замечательные стороны своего характера, свои военные способности, наконец, о дружбе с этим интересным человеком, с его семьей (это было перед самой войной, Волох только что женился, и молодая жена его, Лиза, жила вместе с ним в части), и трагическая гибель комбрига и его жены в первые дни войны, и весь славный боевой путь бригады, с которой Варзин затем прошел до Вены,— все это вспоминалось, ложилось в

Из романа «Межа».



строчки на бумагу, перепечатывалось, переписывалось и снова перепечатывалось. В какой-то день законченная им рукопись, напоминавшая более документ, чем беллетристику, в общем потоке таких же рукописей с редакционной почтой прибыла в один из толстых и уважаемых Василием Сергеевичем журналов. Печатать ее не стали, а посоветовали, как запись очевидца, передать в архив для истории. Василий Сергеевич сам возил ее в архив и был доволен приемом и беседой с работниками архива. Теперь он с каждым годом расширял и пополнял свою рукопись, уточняя факты, даты, имена, и работа эта увлекала и занимала его.

В этот очередной свой приезд он ничего не привез для архива — он приехал по пенсионным делам и хлопотал путевку в Кисловодск, чтобы подлечить сердце,— но все же зашел в архивное управление, зашел просто так, встретиться, посидеть, поговорить. Когда он, собираясь уходить, прощался со всеми всегда приветливо встречавшими его архивными работниками, уже в коридоре, ведя его под руку, старший научный сотрудник Демидов (это был тот самый толстяк Демидов из архивного управления, который ходил к Шуре и намеревался жениться на ней) сказал ему:

— Я давно все хочу спросить вас, Василий Сергеевич, ведь вы хорошо знали комбрига Волоха?

— Конечно.

— Скажите, были у него дети?

— Дети? Нет... Не помню... А вы к чему это?

— Да просто...

— Все же?..

— Я знаю: живет здесь одна Александра Волох. Ни отца, ни матери, росла в интернате.

— Отчество?

— Григорьевна. В том-то и дело, что все сходится.

— Вряд ли это возможно,— сказал Василий Сергеевич, подумав.— Не было у комбрига детей. Скорее всего совпадение фамилий. На что уж моя, Варзин, вроде редкостная, а и то в нашей только бригаде было, кроме меня, еще два Варзина: командир шестого эскадрона и штабной радист.

Василий Сергеевич будто забыл об этом разговоре, как только распрощался с Демидовым и вышел из архивного управления. «Да нет, этого не может быть,— сказал он себе,— это совпадение». Но в стариковской памяти чем менее он хотел думать об этом, тем яснее возникали картины и события тех лет. Он вдруг вспомнил, как последний раз был в гостях у комбрига, как его жена Лиза подавала на стол, и теперь Василию Сергеевичу казалось, что да, Лиза была беременна, что это было очень заметно тогда. Он вспомнил, как уже за Могилевом, когда в бригаду, отведенную на день на отдых и пополнение, вдруг вернулся бывший начальник снабжения, который вместе со штабом бригады, с комбригом и со всеми тыловыми обозами попал под Белостоком в окружение и считался погибшим, как этот начальник снабжения, повторив все уже известное о гибели комбрига (Волох вел бой и, уже раненный, истекавший кровью, отбивая очередную атаку немцев, бросился с гранатами на танк), сказал: «А Лизу схватили немцы»,— и эта фраза и все, что стояло и виделось за ней, весь день не давали ему покоя: «Лизу схватили, она была беременна!»

Под вечер Варзин все же зашел в адресное бюро и, назвавшись родственником, попросил сообщить ему адрес Александры Григорьевны Волох. Но зайти к Шуре он решился только сегодня, когда справился со всеми делами в городе, когда и путевка в Кисловодск и обратный билет в Сарханы уже лежали в кармане. «Нет, это невозможно»,— говорил он себе, идя к Шуре. Но волнение нарастало в нем по мере того, как он приближался к ее дому, и в глубине души Василий Сергеевич верил, что все может быть. Мысль о том, что он идет к дочери комбрига, человека, с которым когда-то служил вместе, которого хорошо знал и уважал (недавно в газетах была помещена статья к шестидесятилетию со дня рождения комбрига Волоха, помещен его портрет, и Василий Сергеевич на всякий случай прихватил с собой газетную вырезку),— сама эта мысль, что он может сейчас увидеть дочь комбрига, уже была для Василия Сергеевича волнующей. Когда же Шура открыла дверь и когда Варзин, едва взглянув на ее лицо, увидел в нем сходство с лицом комбрига Волоха, как он ни был внутренне готов к такой встрече, все же был поражен этим. Ничего не говоря, Варзин прошел в комнату Шуры, остановился и продолжал смотреть на ее лицо, отмечая новые и новые черты сходства. Вглядевшись пристальнее, он обнаружил, что Шура похожа не только на комбрига Волоха, есть в ней еще что-то, живо напоминающее Лизу. «А Лизу схватили немцы»,— стучалось в памяти. Варзин на мгновение представил себе лицо комбрига, каким запомнил его как раз накануне войны, когда они сидели в штабе и разговаривали о предстоящих маневрах, и так же отчетливо представил себе Лизу, как знал и запомнил ее в тот день, когда он был последний раз в гостях у них, и все это: прошлое время, памятное и дорогое ему, старые друзья, их дочь, стоявшая сейчас перед ним,—это была, несомненно, она — все это волновало старика и мешало ему говорить. В то время как Шура, видя это его волнение и волнуясь сама, с замиранием спрашивала себя: «Боже мой, кто же он?» — предполагая и строя разные свои догадки, минуты эти для Василия Сергеевича были самыми счастливыми и самыми тяжелыми за все последние годы его жизни.

— Я к вам по делу, которое может показаться для вас странным,— сказал наконец Василий Сергеевич неторопливым и надтреснутым голосом. Варзин оглянулся вокруг себя, отыскивая место, куда бы можно было присесть.

— Вот сюда, пожалуйста,— заметив его движение, предложила Шура, поспешно и услужливо пододвинув стул. Ожидание чего-то того, что должно было произойти, и беспокойство еще сильнее охватили ее теперь, после этих слов Василия Сергеевича. Ни малейшее движение его морщин, ни выражение глаз, ни положение лежащих на коленях рук, таких же белых и мягких, как складки на лице, не ускользали сейчас от внимания Шуры. Она смотрела на Варзина еще пристальнее, чем прежде, краснея оттого, что делала это, и не в силах была не делать.

— Вы воспитывались в детдоме?

— Да.

— Вы знали своих родителей?

— Нет.

— Но хоть что-нибудь и когда-нибудь вы слышали о них?

— Нет.

— Я поспешил, мне надо было, конечно, сначала все уточнить и выяснить, а потом уже идти к вам, но раз так случилось, раз уж я пришел,— все с той же и, очевидно, уже привычной ему медлительностью продолжал Василий Сергеевич, в то время как лицо его казалось теперь еще более напряженным и взволнованным,— я скажу вам, что привело меня сюда. Дело вот в чем...—И он рассказал Шуре все, что знал о комбриге, его жене Лизе и о, возможно, родившемся в плену или в фашистской тюрьме ребенке.— Я не берусь ничего утверждать. Мне известно лишь, что Лизу около месяца держали в белостокской тюрьме, а потом отправили в концлагерь. Но вот сейчас я смотрю на вас — вы так похожи на своего отца, так поразительно похожи,— докончил он и, достав из бокового кармана небольшой сверток и развернув его, протянул Шуре не очень старую, но уже начавшую желтеть газетную вырезку: — Взгляните.

Руки Василия Сергеевича, особенно его синевато-чистые и как будто уже высыхающие пальцы,— Шура заметила это, беря протянутую ей газетную вырезку,—вздрагивали от волнения. «Как он слаб»,— подумала она, чувствуя, что ее самое охватывает тихая и мелкая душевная дрожь от вида этих рук, от вида газетной вырезки, какую она, взяв, разворачивала теперь, от слов Василия Сергеевича, главное же, от произнесенного им «похожа на своего отца». «Комбриг Григорий Волох,—прочитала она.— К шестидесятилетию со дня рождения». С помещенного под заголовком небольшого портрета смотрело на нее молодое, веселое (снимок тридцатых годов) и пока еще чужое и совсем незнакомое ей лицо. Она принялась разглядывать это лицо. «Чем же он похож? Что в нем такого?» — говорила себе Шура. Но она не могла не заметить, что снимок действительно-таки напоминал ее самое, как она выглядела на фотокарточках, и это портретное сходство чем более она всматривалась, тем представлялось очевиднее и разительнее. Шура смотрела на портрет так, как если бы видела сейчас перед собой живое лицо, и оттого чувство, какое испытывала, было чувство к живому и близкому ей человеку. «Боже мой, он — отец! Эти глаза (ей казалось, что они тоже, как живые, смотрят на нее, и смотрят с той ласкою и нежностью, о какой она только мечтала, но с какою еще никогда и никто не смотрел на нее в жизни), брови, волосы, орден... Боже мой! Он улыбается...» Но улыбка, хотя она была откровенной и веселой, казалась Шуре горестной: в ней было и предчувствие беды, будто он уже тогда, в то время, как делался снимок, знал, какая участь постигнет его, и было то выражение, будто он говорил ей теперь: «Здравствуй».

«Тюремная»,— сказала себе Шура, живо и отчетливо вспомнив прозвище, каким в детстве, когда она была в интернате, называли ее. Она действительно родилась в белостокской тюрьме, куда фашисты посадили Лизу; на этапе, когда арестованных перегоняли из Белостока в концлагерь, Лиза незаметно сумела передать ребенка стоявшей в толпе незнакомой женщине, положив предварительно в одеяльце записку с именем и фамилией дочери; женщина отвезла ее своей дальней родственнице, и, когда Шура уже попала в интернат, никто толком не знал, где, в какой тюрьме и почему в тюрьме родилась девочка. Сама же Шура никогда не верила в это, потому что, когда спрашивала у воспитательницы: «Разве я тюремная?»,— они отвечали: «Нет, девочка, ты, как все».

«Они утешали, хотя не знали, кто мой отец и кто моя мать»,— говорила себе Шура теперь с тем чувством боли, тревоги и радости, что именно эта черточка из ее биографии,— о чем она вспомнила теперь, сильнее, чем портретное сходство, подтверждала ей, что глядевший на нее со снимка человек—ее отец, но она еще не решалась ничего сказать Василию Сергеевичу. На минуту Шура даже будто совсем забыла о Варзине и не видела, как он напряженно и внимательно следил за ней, отмечая про себя ту переменчивую бледность ее лица, которая, как было совершенно ясно Василию Сергеевичу, происходила от ее душевного волнения. В этой переменчивой бледности он еще более угадывал то сходство, какое поразило его вначале, и ему сейчас не только было ясно, что перед ним дочь комбрига, но он даже подумал, как мог еще минуту назад сомневаться в этом. Но Василий Сергеевич, так же как и Шура, не говорил ей, о чем думал и что было для него бесспорно; он лишь с удивлением замечал, что вместо радости, какую должен был испытывать теперь, встретившись с ней, испытывал противоположное радости чувство, испытывал беспокойство, какого не было у него прежде.

В это самое время постучался и вошел Егор. Он шел к Шуре, чтобы успокоиться; но то, что ожидало его здесь, что предстояло ему узнать, не могло успокоить. Уже сам вид сидевшего посреди комнаты пожилого человека встревожил его. Егору не представлялось лицо Василия Сергеевича добрым и приятным. Он заметил лишь дряхлость, и впечатление это было тем сильнее, чем более он думал, что старика этого не должно было быть здесь. Уже сам вид Василия Сергеевича, встревоженная, взволнованная и обеспокоенная Шура, необычная переменчивая бледность ее лица и необычное, тревожное и как бы обращенное в глубь себя выражение ее глаз — все это сразу же насторожило Егора. Так же, как четверть часа назад Шура, он прежде всего задал себе вопрос: «Кто он?» — и вопрос этот прозвучал для него с тем же волнением, как и для Шуры, потому что он знал (от нее же), что никого из родственников у нее нет, что росла и воспитывалась она в детском доме. В сущности же, вопрос этот возник у Егора лишь потому, что он, войдя в комнату, сразу же очутился в той сфере тревожных чувств, в какой уже находились Шура и Василий Сергеевич. Он как бы ощутил их тревожные мысли и, в то время как спрашивал себя: «Кто он?» — чувствовал уже в самом этом вопросе ответ, кто был он. Позднее, когда Егор вспоминал об этом вечере и этой минуте, он всегда говорил Шуре: «Понимаешь, я сразу почувствовал, просто удивительно, как я почувствовал это»,— и ему действительно все представлялось удивительным; но сейчас для него удивительным и неожиданным было лишь то, как могло случиться все это, и почему Шура никогда ничего не говорила ему. Егор смотрел то на Шуру, то на Василия Сергеевича с той растерянностью, как это всегда бывает в таких случаях, которую не мог сразу же и быстро побороть в себе.

— Вот,— сказала Шура, подавая Егору газетную вырезку.

Егор взял ее, прошел к окну и, став к свету так, чтобы яснее были видны строчки, принялся читать. Пока он читал, все в комнате молчали и глядели на него, будто все теперь зависело от того, что скажет он. Это выражение было и в глазах и во всем напряженном и бледном лице Шуры, хотя никто более, чем она сама, не мог знать всего; и выражение это было у Василия Сергеевича, хотя к тому, что уже было понято ими, Егор, разумеется, не мог ничего добавить. Но они ждали, и ожидание их было тем напряженнее, чем дольше длилось.

«Вот как пришлось встретиться, кто же предполагал, кто бы мог поверить!» — говорил себе Василий Сергеевич, которому было дорого воспоминание о комбриге и о прошлых годах, и встреча эта лишь сильнее расшевелила в нем те мысли и чувства, какие всегда жили в глубине его души. Он не мог не думать, как бы сложилась жизнь комбрига Волоха, Лизы и Шуры, если бы не война, и как сложилась бы жизнь десятков других известных ему людей, о которых он писал в своих воспоминаниях, и это теперь вызывало на глаза стариковские слезы. «Вот что наделала война, вот оно»,— повторял он себе. Но, говоря это, он испытывал и другое чувство, какое поднималось в нем и какое происходило от того первого впечатления, когда он увидел, как жила Шура, и когда теперь, вглядываясь, еще более понимал, как она жила. Варзин не замечал скромности в убранстве квартиры, а видел лишь, что в комнате было светло, чисто, уютно, и видеть это было приятно ему; он не знал, что находилось в Шурином гардеробе, но он видел на ней то самое коричневое и особенно шедшее ей узкое платье, в каком она была на работе и в каком он застал ее теперь, дома, и видеть это тоже было приятно ему. Василий Сергеевич не спрашивал себя, как она жила, но чувствовал, что жила она неплохо, и это радовало его. Он думал: «Вырастили, выходили, воспитали»,— но он не представлял себе отдельно тех людей, кто сделал это, а представлял добро, живущее в людях, то добро, какое было в нем самом и какое сейчас, в эти минуты, он особенно ощущал в себе. Он представлял добро как что-то одушевленное, шевелившееся в нем, и от сознания этого добра в себе, главное же, того добра, что еще живо в людях, Варзин еще больше чувствовал себя растроганным и ослабевшим. «Встретил... Что же теперь? Что же дальше?» — говорил он, в то время как морщины на его лице опять сдвинулись, выразив усилие, какое он делал над собой, чтобы не волноваться.

— Комбриг Волох,— негромко проговорил Егор, дочитав и взглянув на Шуру и Василия Сергеевича.— Это же твоя фамилия, Шура,— добавил он, обращаясь к Шуре.

— А еще?..

Он вторично взглянул на статью.

Потому, что ему не нужно было теперь читать, он обратил внимание на снимок; он и прежде заметил, что лицо комбрига было похоже на Шурино, но сейчас он увидел это отчетливее и яснее. «Не он,— подумал он о Василии Сергеевиче,— а этот ее отец!»

— Отец?

Шура не ответила.

— Твой отец, Шура? — повторил он.

— Я только полагаю это,— перебил Василий Сергеевич своим неторопливым и надтреснутым стариковским голосом.— У меня есть основания полагать это,— добавил он, продолжая глядеть на Егора,— есть основания думать, что Григорий Софронович Волох был ее отцом.

— Какие?

— Дело вот в чем,— и Василий Сергеевич снова и теперь с еще большими подробностями повторил все то, что он уже рассказывал Шуре.— Я не могу утверждать, но вы посмотрите, посмотрите,— говорил он, держа перед собою и показывая Егору портрет комбрига.— Лиза, ее мать, была беременна, это я точно помню. Но мне, конечно, надо было сперва все выяснить, запросить Белосток, хотя ведь почти никаких архивов там не осталось. Фашисты все сжигали за собой...

— Белосток? — сказал Егор.— Ты родилась в Белостоке, Шура?

— Да. В тюрьме.

— Как в тюрьме?

— Ее мать, как жену комбрига, немцы сразу упрятали в тюрьму,— вставил Василий Сергеевич,— так что... возможно. И это очень важно, что она сейчас сказала, что она помнит о тюрьме...

— Да,— ответил Егор более себе, чем Василию Сергеевичу.— Они похожи... Дочь комбрига...

Егор сидел рядом с Василием Сергеевичем, повернувшись спиной к окну, и ему хорошо было видно и лицо старика и лицо Шуры. «Дочь комбрига»,—уже про себя повторил он, конечно же, все так, и ничего не может быть и не могло быть иначе. Ему было тревожно и было радостно за Шуру; Егор смотрел на нее, и ему казалось, он понимает, что чувствует и думает она.

— Шура.— Он встал и взялся за спинку стула.

— Не знаю...

— Шура!

— Я ничего не знаю, боже мой, нет, нет, я ничего не знаю,— торопливо проговорила она, избегая взгляда Егора и взгляда Василия Сергеевича, и еще более бледная и возбужденная, взяла газетную вырезку и вышла из комнаты на кухню. Она, в сущности, еще не читала, что было написано в статье, а разглядывала только снимок, и ей не терпелось прочесть и побыть наедине с собой. Главное же, ей нужно было дать волю тем своим чувствам — радости, что она теперь знает, кто были ее отец и ее мать, и боли, что так поздно узнала, кто они были,— тем чувствам, которые сейчас волновали ее.

ПРАВО НА ПРЫЖОК



Брумель учится ходить.

Валерий БРУМЕЛЬ,
заслуженный мастер спорта

13 марта 1969 года. Манеж стадиона Юных пионеров. Первая двухметровая высота после возвращения в строй.
Фото АПН.



Эти записки Валерий Брумель, мировой рекордсмен по прыжкам в высоту, начал три года назад после тяжелой травмы, казалось бы, навсегда лишившей его возможности быть спортсменом. Врачи не оставили ему никакой надежды, но в ответ Брумель начал борьбу. Записки, с которыми мы хотим познакомить наших читателей, были началом этой борьбы без всяких, казалось бы, шансов на успех.

I

Летом 1963 года у меня появился новый соперник — Андрей Хмарский из Одессы. Начал грозиться: «Побью твой рекорд, ты свое уже отпрыгал». Я отшучивался как мог, но чувствую, парень не шутит. И задело меня за живое. Еще больше стал тренироваться.

Вскоре на розыгрыше Кубка Риги взял 2 метра 18 сантиметров, в Париже прыгнул на 2,17. И все. Больше соревнований не было. Мемориал Знаменских, не помню уже по какой причине, пришлось пропустить. Скучное было лето. Оставался июль. СССР — США, матч гигантов, на котором я хотел побить мировой рекорд, был для меня всего четвертым летним стартом. Рекорд тогда был 2,27, и установил я его годом раньше.

Так вот, прыгаю на последней перед матчем с американцами тренировке, стараюсь, а никак не получается. Дьячков только руками разводит: все делаю правильно, а прыжок не идет. 2,13, а дальше ни одного сантиметра.

Уходил со стадиона хмурый, весь день никого видеть не хотелось. Встречаю случайно Гавриила Витальевича Коробкова, старшего тренера сборной.

— Чего, Валерий, нос повесил? — спрашивает.

— Не будет рекорда,— отвечаю я,— сам не пойму, в чем дело.

— Ну, с таким настроением ты не то что рекорда, а и вообще нормального прыжка не сделаешь. Я ведь знаю, что ты сейчас в форме и можешь прыгнуть. А ну-ка пойдем.

— Куда?

— Как так куда? На стадион! Только Дьячкова позови.

И снова я в секторе. Дьячков следит за прыжками, направляет. Гавриил Витальевич рядом стоит. Прыгаю так, как будто и не было утренней тренировки, как будто и не устал вовсе. Замеряем последнюю высоту — 2,20,5. Беру! Сияю во все лицо, не могу сдержаться. Теперь уже жду не дождусь, когда вызовут в сектор. До чего же хочется прыгать!

Дождался. Июль, жара, а Лужники переполнены. От нашей команды — мы с Робертом Шавлакадзе. Американцы прислали Джонсона и Фауста. Фауст — тот послабее оказался, а Джонсон цепкий. Роста примерно моего, худой, ноги сильные. Прыгал «перекатом». Непосвященному трудно заметить разницу между таким стилем и принятым у нас «перекидным». Но она есть, эта разница, наш стиль экономнее. Впрочем, кто как привык, кому как удобнее.

Джонсон держался до 2,15. Следующую высоту — 2,18 я беру с первой попытки, а Джонсон выбывает. Остаюсь один, заказываю 2,23. Стадион, как уже говорил,— яблоку некуда упасть (славные времена, когда стотысячные Лужники собирали на легкоатлетические соревнования полную аудиторию, теперь такого не увидишь). Все наблюдают за прыжками. Не могу передать, как такая обстановка поднимает дух, как настраивает.

2,23 позади. На планке — рекордная высота. 2 метра 28 сантиметров. Разбегаюсь, выхожу на планку. Нет, наталкиваюсь на колено. Вторая попытка... Планка падает со стоек... Выбираюсь из ямы приземления. Быстро соображаю: «Сорвался с маховой ноги, видно, неправильно разметил разбег, да и скорости можно прибавить. Все будет в порядке!..»

И действительно, все было в порядке: новый мировой!

...Кто знал тогда, что это будет мой последний мировой рекорд, что выше мне не удастся подняться? Ведь мне, как казалось со стороны, все так легко давалось. Впрочем, разве и в то время не испытывал я трудностей? А 1964 год?..

Недобрым он был для меня, шестьдесят четвертый. Кажется, никогда еще не достигал я такой хорошей формы, а рекорд ускользал из-под самого моего носа. И Олимпиаду чуть не проиграл...

Всю зиму я копил силы, занимался со штангой, приседал с весом 175 килограммов. Владимир Михайлович Дьячков придумал специальное, нехитрое на вид, упражнение: прыжок с места вверх. Высота подскока, как оказалось, определяла мои возможности, и, когда весной я прыгнул на 104 сантиметра, тренер сказал: «Можешь идти на рекорд».

Я и пошел. В конце мая на весеннем матче в Минске легко взял 2,23. Попросил поставить планку на 2,29. Рекордная высота... И не справился. В июне командировали на международные соревнования в Швейцарию. В борьбе с сильным польским спортсменом Эдвардом Черником снова подобрался к рекордному рубежу, и снова неудача...

Меня часто спрашивают: трудно ли бить рекорды, когда ты в секторе один, когда все противники отпали, уже выбыли из борьбы? Не снижает ли это боевого настроя? Нет, не снижает. Когда ты обыгрываешь одного за другим и в конце концов остаешься один на один с планкой, жажда боя остается, настроение сохраняется, спор продолжается. И если я тогда, в Минске, а затем в Цюрихе не сумел прибавить к рекорду одного сантиметра,— крохотный кусочек пространства и такой громадный для прыгуна в высоту,— то вовсе не потому, что соперники уже сидели на скамье для наблюдателей, и не потому, что сам не был готов. Просто очень нелегкое это дело — прыгать на таких высотах.

Следующую попытку преодолеть этот строптивый сантиметр я предпринял на матче легкоатлетов СССР — США в Лос-Анджелесе. До той поры мы еще ни разу не проигрывали американцам в матчах, интерес к нашей встрече был громадный, а мне не впервой было устанавливать рекорды на «матче гигантов». И я был уверен: возьму 2,29.

Даже знаменитый смог — мельчайшие частицы паров бензина, окутавшие город невидимым туманом,— меня не смущал. Ребята жаловались, что трудно дышать, а мне он ничуть не мешал. Незадолго до старта решил поразмяться — и прыгнул с травы на 2,23,5. Владимир Попов (тогда он был тренером по прыжкам в длину, а сегодня старший тренер нашей сборной) только головой покачал: «Ну и готов же ты, брат...»

Борьбу пришлось мне вести с новым для меня соперником Джоном Рамбо. Очень мне понравились его внешние данные. Помню, как увидел его, подумал: «Эге! Как же у такого выиграть?» Длиннющий, за два метра ростом, негр, поджарый, пышущий здоровьем. Джон прыгнул на 2,14, я же достиг уже привычной для меня высоты — 2,23. Но рекорд снова устоял, еще одна попытка побить его не удалась, и настроение у меня было неважное, тем более что и вся наша команда выступила неудачно.

Вернувшись домой, пошел в последнюю атаку. В Киеве, на стадионе «Динамо», прыгнул все на те же 2,24 и попросил поставить планку — в который уже раз — на 2,29. Но тут начался турнир копьеметателей. Янис Лусис хорошо метал, привлекая к себе внимание зрителей, а кроме того, бежал, пересекая воображаемую линию моего разбега. Вот я и сбился с ритма — и три раза уронил планку.

И тут-то я вдруг понял, что рекорда мне в этом году не побить. Ни за что не побить! Понял — и сразу почувствовал огромную усталость, даже опустошенность. А тут еще ошарашила тревожная мысль: впереди Олимпийские игры, как бы их не проиграть.

И пошли неудачи. На чемпионате страны первое место занял Роберт Шавлакадзе. Он установил личный рекорд (это в 32 года!) — 2,17. Я тоже взял эту высоту, но отстал по попыткам. Давненько я уже не проигрывал. А через несколько дней уже не в Киеве, а в Москве привелось мне еще раз испытать горечь поражения. Оказался впереди снова Роберт, хоть и преодолели мы с ним одну и ту же высоту — 2,15.

«Да, похоже, на Олимпиаде можно и осрамиться,— подумал я тогда.— Чего обманывать самого себя — Томас будет в порядке, к тому же он знает, что я не в форме. Да и Рамбо неплох...»

Какие это были мрачные времена! Я чувствовал себя совершенно беспомощным, на тренировках у меня ничего не получалось. И только в Японии я чуть-чуть воспрянул духом.

Наша команда в первые дни жила под Токио, в живописном местечке Никко, на тренировках дела пошли немного лучше, и за неделю до старта я прыгнул на 2,15. Но привычной легкости, того неуемного желания соревноваться, которые неизменно на протяжении многих лет сопровождали мои прыжки, я не ощущал.

Классификационная норма для нас была в общем-то установлена скромная: 2,06. И все же утренние соревнования чуть было не закончились для меня печально. Даже 2,03 я никак не мог взять. Две попытки уже позади, а я еще не обеспечил себе места в финале. Неужели и в третий раз планка не удержится на этой пустяковой высоте? Тогда можно складывать чемодан!

Рядом Шавлакадзе, смотрит на меня ничего не понимающими глазами.

— Ты что делаешь,— кричит,— с ума сошел?

— Не идет,— говорю я устало. «Неужели конец? — с ужасом думаю я.— Опозорюсь! И всю команду опозорю. И без того у нас медалей кот наплакал...»

— Надо взять,— говорит мне Роберт внушительно.

— Ладно, чего уж говорить. Возьму...

И взял. И после этого 2,06 — тоже. Можно идти. Механически шагаю к выходу со стадиона. Смотрю, старший тренер сборной Коробков. За толстыми стеклами очков — расширенные зрачки. Глядит на меня и не видит. Только тогда я понял, как близок был к неудаче. Засмотрелся я на Гавриила Витальевича, даже рот разинул и врезался в железную калитку да так, что охнул и начал сползать вниз. Коробков подбежал, подхватил. «Что с тобой?» — спрашивает. «Ничего»,— отвечаю, а сам ощупываю голову. Как будто бы цела...

А вечером перед началом финальных прыжков новый удар: судьи стали проверять толщину подошвы шиповки. Эта подошва в толчковой туфле должна быть не больше 12 миллиметров. Вот они и испытывали каждую туфлю специальной машинкой — сожмут, зафиксируют, отпустят. Нетрудно догадаться, что сжимать подошву можно было по-разному — с любым отклонением, своя рука — владыка. И мне они сжали подошву шиповки так, что получилась она толщиной в 13 миллиметров. У Шавлакадзе, Скворцова, многих зарубежных прыгунов туфли оказались с такой же толщиной подошвы, но их допустили на соревнования, а мне — красный свет. Что же делать? Не прыгать же босиком! Зло меня разобрало, подхожу к Валере Скворцову, на глазах у всех беру его, только что прошедшую испытания шиповку. «В этой можно прыгать?» — спрашиваю. Судьям деваться некуда, разрешили. Но у Валерия 44-й размер, на номер больше, чем у меня, вот и побалтывало мою ногу в его туфле. В конце концов на высоте 2,14 это сказалось, и во второй попытке я локтем сбил стойку — не планку, а стойку и сильно ушиб руку. И все же в третьей попытке взял высоту...

Сколько прошло лет после этого токийского испытания, а до сих пор не могу вспомнить о нем без волнения. В борьбе участвовало 20 человек. Пять с половиной часов провели мы на стадионе под дождем. 2,16 я взял с первой попытки, Томас — со второй, Рамбо тоже удержался на этой высоте, но с трудом. И тут я понял, что могу стать олимпийским чемпионом. 2,18 мы с Томасом взяли сразу же, Рамбо сошел. И вот передо мной высота 2,20. Сколько раз я преодолевал этот рубеж! Но ведь сегодня борьбе уже отданы пять часов. Силы мои на исходе, нервы напряжены до предела. И действительно, не удалось мне использовать ни одну из трех попыток. Я завершил соревнования, а у Томаса остается еще один шанс. «Неужели возьмет?» — подумал я. Внимательно вглядываюсь в лицо своего соперника. Нет, он тоже смертельно устал, он смирился с поражением... Разбегается... Прыжок... Так и есть: неудача! А так как для того, чтобы добраться до высоты 2,18, американец использовал больше попыток, чем я, то золотая медаль моя!.. Ох, какая это была тяжелая медаль! Честное слово, рекордные высоты давались мне с меньшим трудом, чем эти токийские — 2,18...

А вскоре незаметно подкралась беда...

II

Не все еще было сделано, не все использовано, и я дожидался новых соревнований, чтобы еще раз штурмовать рекордную высоту. Зимой 1965 года мы солидной группой побывали в США — Тамара Пресс, Гена Близнецов и, конечно, Тер-Ованесян. Все мы успешно выступили на открытом первенстве США. Такое американцы не часто видели: у себя, в мировой легкоатлетической цитадели, им пришлось отдать золотые чемпионские медали спортсменам другой страны — Советского Союза. В Нью-Йорке, в Мэдисон Сквэргардене, я прыгнул на 2,21, а в Лос-Анджелесе впервые попробовал тартановую дорожку. Потом новый матч с американцами, уже летом в Киеве. Мы с Большовым, взяв одинаковую высоту, легко обыграли американских негров Баррела и Каразерса (будущего серебряного призера Мехико). Большов, право же, заслуживает восхищения: многие уже готовы были сбросить его со счетов, даже в Токио, на Олимпиаду, не послали, а он вдруг словно возродился. В Париже, на матче СССР — Франция, мне с трудом удалось его обыграть.

...3 октября мы вернулись из Парижа. На следующий день — тренировка. Все шло очень хорошо, все получалось, и на радостях я позволил себе покататься на мотоцикле. Мотоциклист я опытный, еще в шестидесятом году получил водительские права... Вечерняя прогулка 5 октября окончилась больницей.

Говорю совершенно честно: к этому времени я устал от спорта. Устал от бесконечных разъездов, от почти ежедневных тренировок, от бесчисленных соревнований — ведь в каждом приходилось выступать на пределе физических и духовных сил. И поэтому как это ни парадоксально, но в минуты, когда меня готовили к операции, я думал: «Хоть отдохну немного. Толчковая-то нога цела, только бы правую не отрезали. Полежу два-три месяца в больнице, может, после этого и свежесть вернется». Я не представлял, насколько серьезна моя травма, насколько сложен перелом.

Иван Иванович Кучеренко, оперировавший меня хирург, чуть не расхохотался, когда я поделился с ним своими мыслями на этот счет. Он был в преотличнейшем расположении духа, сложная операция, за которую взялся бы не каждый, прошла блестяще, и врач вовсе не хотел меня разочаровывать, но и не хотел кривить душой.

— Дурачок,— пояснил он, ласково потрепав меня по плечу.— Какой там спорт! Выкинь его из головы. Скажи спасибо, что ногу тебе не отрезали...

Милый Иван Иванович! Врач с золотыми руками, человек, прошедший войну, оперировавший раненых в прифронтовых госпиталях, он столько чужой боли, столько чужого горя повидал на своем веку и все же сохранил душевную теплоту. Мы очень подружились, несмотря на заметную разницу в возрасте. Всегда буду ему благодарен за то, что он спас мою ногу. По кусочкам собрал осколки раздробленной кости, наложил на нее металлическую пластинку, закрепил шурупами. Если бы не повторный перелом, который вскоре произошел во многом из-за моей собственной неосторожности, я, возможно, давно уже вернулся бы в спорт.

«Какой там спорт? Брось об этом и думать»,— сказал Кучеренко. Его коллеги по Институту Склифософского, осматривавшие меня, говорили то же самое. Но я не поверил врачам. Почему я так стремился вернуться в сектор для прыжков? У меня никогда не было такого чувства, что белый свет клином сходится на спорте, на соревнованиях, на рекордах. Уже лежа в больнице, я смог наверстать пропущенное в свое время в институте, ликвидировал хвосты, сдал государственные экзамены. Дипломированный специалист, я мог бы, вероятно, не хуже других преподавать физкультуру школьникам либо тренировать прыгунов. Мог бы, наверное, поступить и в аспирантуру своего института. Но я размышлял об этом как о чем-то неблизком, как о деле будущего. Я думал о прыжках.

За шесть лет, прожитых мною в большом спорте, я привык к прыжкам в высоту, полюбил их. Спросите у Льва Яшина, почему он в свои сорок лет не покидает места в футбольных воротах. Спросите у Вениамина Александрова, Игоря Новикова, легко ли было им расставаться с хоккейной площадкой, с ареной пятиборья. Мне же в момент катастрофы было всего двадцать три года, время для разлуки еще не наступило.

И я сказал себе: «Пока сохраняется хоть малейшая надежда, ты будешь жить для того, чтобы вернуться в спорт».

Но скоро наступили времена, когда я готов был впасть в отчаяние.

После вторичного перелома ноги я попал в ЦИТО — Центральный институт травматологии и ортопедии. Лечила меня Зоя Сергеевна Миронова, профессор, опытнейший хирург, любимый спортсменами человек. Ей помогали столь же искусные врачи. Почти два года я провел в ЦИТО, но улучшения не было.

«Если уж Миронова ничего не может сделать, так кто же еще? — невесело подумал я.— Видно, действительно я витаю в облаках, мечтаю о несбыточном». Настроение, не скрою, было паршивое. Стыдно сегодня вспомнить, но именно в эти месяцы я потерял веру в себя. И все же окончательно привыкнуть к мысли, что все потеряно, я не мог.

Однажды доктор Панова, заместитель Мироновой, откровенно сказала мне:

— Валерий, все надо делать заново: переломить малую берцовую кость, сдавить ее и срастить. Но при этом правая нога станет на 3—4 сантиметра короче левой. Так что и в этом случае прыжки тебе будут заказаны.

— А чтобы без укорочения? — спросил я.

— Не знаю врача, который рискнул бы взяться за такую операцию,— не скрыла от меня правды Панова.

Я и подавно не знал такого врача. Но в голове все же засела мысль: значит, в принципе возможно сделать удачную операцию? Ну что же, тогда подождем!

Я выписался из ЦИТО, перенеся, если не ошибаюсь, четыре мучительные, но не принесшие заметного облегчения операции. Я шутил с друзьями, улыбался, но было мне трудно, хотя я все время чего-то ждал. И дождался вечера, когда ко мне домой пришел незнакомый человек и рассказал историю, похожую на сказку.

С тяжелой травмой тазобедренного, если не изменяет мне память, сустава этот человек обратился к курганскому хирургу Гавриилу Абрамовичу Илизарову, о котором случайно услышал от кого-то из своих знакомых.

— Илизаров не стал меня лечить,— рассказывал мой вечерний гость,— травма не соответствовала его профилю. Но я побывал у него в клинике, насмотрелся, наслушался и уверяю тебя, Валерий: это не человек, а волшебник. Он вернет тебе ногу.

Сразу же, невзирая на поздний час, я позвонил в Курган. Анатолий Григорьевич Каплунов, ученик и первый помощник Илизарова, был краток и деловит:

— Приезжайте, проконсультируем, и может быть, положим в стационар.

Прилетел в Курган. Гавриил Абрамович оказался совсем непохожим на человека науки: средних лет, чуть лысеющий мужчина с пышными черными усами — такими мы представляем себе кавалеристов времен гражданской войны.

— Ничего страшного,— сказал он, осмотрев мою ногу («Ничего страшного»,— я не поверил своим ушам!).— Чего же ты раньше не приезжал? Только слушай, Валерий: я сейчас защищаю докторскую, часто бываю в отъезде, так что приезжай через пару месяцев.

Это были счастливые недели. Я знал, что операция будет нелегкой, может быть, болезненной, и все равно жил ожиданием ее. А пока каждый день с ногой, упрятанной в чехол, плавал в бассейне, по километру — полтора за тренировку...

В моей квартире много памятных сувениров. «Золотая каравелла Колумба» — приз итальянского города Генуи. «Приз Хелмса», присуждаемый ежегодно лучшим спортсменам разных частей света. Но самый дорогой из сувениров — небольшой макет кости, сжатой металлическими конструкциями аппарата доктора Илизарова. Он подарил мне этот макет в память о месяцах, проведенных мною в его клинике.

Ни одного дня он не держал мою ногу в гипсе. На второй день после операции — нога болела, держалась температура — согнал меня с кровати, заставил ходить.

— Через четыре, самое большее — через пять месяцев получишь нормальную ногу,— пообещал Гавриил Абрамович с такой убежденностью, что я просто не мог ему не поверить.

18 октября 1968 года Илизаров освободил мою многострадальную ногу от аппарата, осмотрел место перелома и, удовлетворенно хмыкнув в усы, отобрал у меня трость, на которую я опирался при ходьбе.

— Чтобы я больше ее не видел,— приказал он внушительно.— Не понадобится.

Через месяц я совершенно перестал хромать. Еще через месяц начал тренироваться.

Гавриила Абрамовича Илизарова, хирурга-кудесника из города Кургана, я называю своим вторым отцом.

III

Немногих, самых близких своих друзей я приглашал на первые тренировки. Стеснялся. Зрелище было не из приятных. Бежал я по резиновому кольцу манежа на стадионе Юных пионеров с черепашьей скоростью, заметно припадая на правую ногу, часто останавливаясь передохнуть; робея, подходил к штанге, даже к небольшому весу,— боялся: а вдруг не выдержит нога?

Выдерживала. Каждый шаг, каждое движение вызывали боль и каждое приносило радость, ибо еще совсем недавно я просто не верил в то, что такое возможно, что такое произойдет.

Долго не подходил к планке, стороной обходил сектор для прыжков, старался не смотреть в его сторону. Но он притягивал. И однажды я не выдержал.

В опустевшем манеже нас было двое: Игорь Кашкаров и я.

— Может быть, попробуешь? — предложил он.

— А какая высота?

— 175 сантиметров,— ответил Игорь по инерции и тут же, словно испугавшись, спохватился: — Да ты что? И не вздумай!.. Я пошутил...

Последние слова он договаривал, когда я был уже в воздухе, над планкой. Прыгал, конечно, не разбегаясь — не научился еще бегать,— с двух шагов. Но все же прыгнул.

— Что скажешь, Игорь?

— Толчковая нога в полном порядке, как прежде,— очень серьезно ответил Кашкаров.— Разработаешь правую — и запрыгаешь. Наверняка! Я не сомневаюсь.

Как мне важна была поддержка спортсмена, одним из первых в нашей стране преодолевшего двухметровый барьер!

В марте я совершил свой первый выезд в свет. На стометровой прямой уже обгонял юношей, поднабрал силенок, привык к стокилограммовой штанге и решил, что можно попрыгать. К рекордам я не готовился так тщательно, как к этому скромному, да к тому же еще тренировочному двухметровому прыжку. Все спортсмены, наверное, немного суеверны. Я себя таковым не считаю, однако почему-то захватил с собой в манеж порванные, давно уже отслужившие свое шиповки, в которых шесть лет назад установил свой последний мировой — 2,28.

Народу в манеже собралось много. Гавриил Витальевич Коробков пришел, Валерий Скворцов и Валентин Гаврилов, лучшие из наших прыгунов, подъехали посмотреть, поддержать; американские легкоатлеты — они как раз в эти дни прилетели в Москву на международный турнир; корреспонденты, фоторепортеры. Необычная, что и говорить, тренировка. Отвык я от такой обстановки и волновался ужасно. Но только до тех пор, пока не начал прыгать. Были это, конечно, не настоящие прыжки: разбегался с четырех шагов — на такой дистанции скорости не разовьешь, да и не было тогда у меня никакой скорости, берег ногу, боялся за нее. Но все-таки взял два метра. Вернулся к тому, с чего начинал десять лет назад...

Многое изменилось за те три с половиной года, что я был оторван от спорта. Появились новые прыгуны, о которых в мое время никто и слыхом не слыхал. Олимпийские игры выиграл Фоссбюри, американец. Оргкомитет Мексиканских игр пригласил меня на Олимпиаду, но я не смог поехать из-за аппарата, в который была зажата моя нога. Так и пришлось мне познакомиться с новым олимпийским чемпионом заочно, наблюдая его прыжки по телевидению.

Прыгает Дик Фоссбюри, как известно, необычным способом,— спиной вперед. Прыжок у него, бесспорно, эффектный и, как может показаться, достаточно эффективный: 2,24 — убедительный результат. И все же стиль Фоссбюри представляется мне нерациональным. Он рискован: всегда сохраняется опасность при приземлении сломать себе шею, и спортсмен, помня об этом, естественно, поневоле осторожничает и не показывает всего, что может. Мне кажется, что если бы американец использовал проверенный «перекидной» способ, то его результаты были бы еще выше.

Жаль, конечно, что титул олимпийского чемпиона, который советские прыгуны в высоту удерживали на двух олимпиадах подряд — в Риме и Токио, вернулся в США. Но я вижу среди своих товарищей прыгуна, который по своим возможностям может стать первым в мире. Это Валентин Гаврилов. Он появился в большом спорте уже после того, как я оказался вне спортивной арены, так что познакомились мы с ним только в последние месяцы. И за небольшой этот срок успели по-настоящему подружиться. Валентин оказался славным парнем. Я видел, как он тренируется, как много работает, и убежден, что может многого достигнуть. Уже сегодня Гаврилов стабильно прыгает на 2,18—2,21, это достаточно высокий уровень и к тому же совсем для него не предельный. Высокий (191 сантиметр), гибкий прыгун несколько уступает своим соперникам в физической мощи, но если он подтянется в этом отношении, то наверняка сумеет взять — и в очень скором времени — 2,25, а может быть, и пристреляется к рекордной высоте.

Смотрю на Валентина, когда он прыгает, и по-хорошему завидую: чистая техника, каждое движение отшлифовано, мне бы так! Но понимаю, что пока еще рано думать о равной борьбе с такими мастерами: нога еще не позволяет. Ну, а с менее маститыми я уже пробовал посоревноваться. На студенческих соревнованиях, где я решил испытать свои силы, я встретился с Левой Тивиковым и Валерием Скворцовым. Один лишь в начале своего спортивного пути, другой — большой мастер, участник Олимпийских игр в Токио и Мехико. Когда я вслед за Тивиковым прыгнул на 2,06, то облегченно вздохнул: «Ну, вот, ребята, добрался наконец до вас». А потом вижу, что Скворцов уже две попытки использовал, и сам, посмеиваясь над собой, подумал: «Еще и выиграю». Конечно, Скворцов взял эту высоту, а затем справился и со следующей — 2,09. Мы с Тивиковым распределили третье и второе места...

Буду ли я прыгать так же высоко, как в прежние годы? Я не могу еще ответить на этот вопрос. Пока я доволен тем, что результаты мои с той поры, как я отбросил в сторону костыли, неуклонно поднимаются. Пока еще я не могу полностью нагружать свою правую, маховую, ногу, еще недавно совсем беспомощную. И поэтому мне не удается полностью использовать козыри моей техники, с помощью которой я преодолел высоту 2,28. Я не могу пока развить нужной скорости разбега; да и вообще тренироваться пока нелегко, приходится порой преодолевать и физическую боль и малодушие. Но я почти убежден, что в следующем сезоне все это или почти все останется позади. Во всяком случае, Гавриил Абрамович Илизаров во время нашей последней беседы сказал: «Все идет нормально. Остальное зависит от тебя самого».

Зимой мы с моим новым тренером Юрием Николаевичем Чистяковым намереваемся тренироваться всерьез, примерно по такой же программе, какую я брал на себя пять-шесть лет назад, в дни наивысшего подъема. Буду много работать со штангой, над повышением скорости. Сейчас я пробегаю сто метров примерно за 12—12,5 секунды. К лету хочу довести эту цифру до 11 секунд. Через год рассчитываю привыкнуть к высотам порядка 2,13 — 2,16 — этого будет вполне достаточно для того, чтобы смело соревноваться в турнирах любого масштаба. А уж потом, если все будет хорошо, можно подумать и о следующих, более солидных высотах и, может быть, даже об Олимпиаде в Мюнхене. Мне ведь только 27 лет и без веры жить нельзя...

Литературная обработка А. СРЕБНИЦКОГО.

Н. ХРАБРОВА

Взаимно

Летней ночью сошла я с теплохода на Псковской пристани и, не найдя в гостинице места, отправилась бродить по улицам. Ночь, по-северному светлая, баюкала старый, израненный войной и юный, нарождающийся Псков. Я шла по тропинкам в бурьяне, по заросшим развалинам и наконец выбралась с набережной, попала в город, и был он весь строительной площадкой. Ящики и бочки с раствором, груды щебня, штабеля кирпича — все это трудовое и созидательное и поэтому словно бы живое—все отдыхало. А за стройкой в свете раннего солнца я увидела низкие широкие колонны у каменного крыльца, шероховатые стены, круглые апсиды, из-за кустов жасмина и крапивы они светились и теплели в утренней розовости и так утверждали жизнь, добро и веселую русскую красоту, что дух захватило. К каменному столбу кто-то проволокой прикрепил дощечку, а на ней написал красной краской: «Осторожно, строители. Церковь Анастасии Римлянки, памятник архитектуры XVI века». Отнюдь не самая лучшая и не самая старая церковь Пскова, но все же прелестная, она была моим первым проводником в мир псковской старины. Потом я кружила мимо стен и башен кремля, переходила реки и речки, попадала в разные века. Храмы, памятники этих веков, были тогда еще облуплены, запущены, изранены осколками снарядов. Но сквозь столетия и войны живо виделись псковские строители с их наивной верой, доброй душой и любовью к простой, невычурной и невыдуманной красоте. И было тревожно: не пропадет ли все в запале строек, не будет ли предано забвению?

Город просыпался: зашумели машины, заговорили люди, новые дома по кирпичным рядкам стали прибавлять в росте. На берегу реки несколько бородачей вручную тесали серые, со стальным изломом блоки плитняка, и в широком плитняковом же круглом здании без кровли молодой человек измерял что-то. Я спросила, что здесь строится. Он ответил, что не строится, а восстанавливается Покровская башня, а если я хочу узнать ее историю и роль ее в жизни Пскова, то мне надо обратиться к Всеволоду Петровичу Смирнову.

Так я впервые услышала о нем, и весь день — у стен кремля, у башен, у церквей, в библиотеке и в музее — меня по всем вопросам реставрации памятников старины отсылали к Смирнову: «Он вам все покажет и расскажет, он псковские летописи наизусть знает».

И вообразился мне Смирнов этаким дедом-всеведом, отнюдь не от мира сего, а от мира древнего-древнего, весь в хронологической пыли бытописаний. А он оказался молодым, мускулистым альпинистом и разрядником по нескольким видам спорта, но действительно знал наизусть псковские летописи. И не только их. И не только потому, что был тогда главным архитектором художественно-реставрационной мастерской. «Вы хотите знать историю Покровской башни? — усмехнулся он моему вопросу.— А нашатырный спирт у вас есть?» «Зачем?» «Да ведь ей четыре века, пока я расскажу все, что узнал и прочел о ней, вы или наплачетесь или уснете».

Я не наплакалась, не уснула, я слушала и видела, как оживает отвоевавшая башня. Вот она воительницей под высоким шлемом-шатром встала на рубеже Руси. И вот бой настал, и смертельно ранена башня. Но она не сдается, не может сдаться, потому что не только охраняет Псков, но и отвечает за прошлое и за будущее России... Может быть, здесь, в прокопченных и пробитых снарядами стенах, в дни тяжелейших сражений с войсками Батория было написано письмо — ответ псковичей на переброшенную стрелами через ощетинившиеся укрепления прельстительную грамоту с предложением капитуляции. Я слушала и думала: возможно, кто-то и из моих предков стоял насмерть у псковских стен, и я, как фамильной честью, возгордилась строками этого письма:

«Да весть твое державство, гордый литовский королю Стефане, яко пяти лет во Пскове христианское отроча посмеется твоему безумию и твоим глупым первосоветникам. О чем к нам писате? Кая нам польза возлюбити тьму паче света или паче чести — бесчестие, или паче свободы горькую работу? Разве ложною ласкою и лестною душою или суетным богатством прельстити нас хощеши? Но ведай... не покоримся прелестным твоим глаголом и не един от самых младоумных во граде Пскове такова совета не примет... Но готов буди с нами на драны, елико кому над кем бог одоление покажет...»

Архитектурные творения восьми столетий сохранились в Пскове вопреки разрушительному времени, войнам и нескольким векам равнодушия к сокровищам русского зодчества. Всеволод Петрович водил меня по Пскову и спрашивал: «Как, по-вашему, церкви могут быть веселыми?» И показывал храмы Василия на Горке, Николы со Усохи, Георгия со Взвозу, Успенья от Пароменья, образскую церковь у жабьей лавицы. По милому и действительно веселому облику их и по свойским названиям было понятно, что не столько божественными сооружениями были эти церковки, сколько на все случаи жизни нужными помещениями: свадьбы в них праздновали, порох да оружие хранили в подвалах и винное зелье, а также вече бурлило у беленьких стен.

— Псков один такой в России. Все надо отдать, чтобы...

Смирнов не закончил фразы, нахмурился. Понять Всеволода Петровича было легко. Со всех сторон обступили его нуждавшиеся в восстановлении памятники старины. И он любил их, как живых, и дрожал над ними, как над больными детьми. Но ведь город-то, почти дотла разрушенный, строился заново, городу не хватало денег для жилья и для коммуникаций, и Смирнов, сам мучаясь от этого совестью, упорно твердил в городских организациях: «Поймите, каждый день дорог, каждый дождь страшен — обрушится, уйдет все, не вернется никогда...»

Иногда он сердился на себя: надо было после окончания Академии имени Репина идти в обычную архитектурную мастерскую. Проектировал бы теперь новые города... В такие минуты он старался выйти из маленького деревянного домика художественно-реставрационной мастерской на улицу. Шел в Завеличье, к собору Иоанна Предтечи, и двенадцатый век строго и нежно взглядывал на него, и собор словно говорил: восемьсот лет стою нерушимо, неужели ты, Всеволод, по долгу службы помочь мне обязанный, не поможешь? И дремуче, будто спросонья, о том же твердил Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. А века тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый пытались развлечь Смирнова, и это им удавалось, потому что камни их были веселыми и добродушными и обещали: «Послужишь нам, Всеволод Петрович, так мы еще долго простоим, еще многих людей порадуем. Ты только пойми: мы несем в себе живую Русь, вот до тебя донесли, а уж твой долг — будущему передать».

Всеволод Петрович успокаивался, снова шел в разные финансовые инстанции, твердил: «Поймите, каждый день дорог, каждый дождь страшен, обрушится, как вернем?» Но там и сами все понимали. И потому в те годы, когда вырастал новый Псков, оживала, молодела и хорошела его старина. И потому весь из звонниц и куполов, из стекла и бетона, получился Псков таким, что не полюбить его просто невозможно.

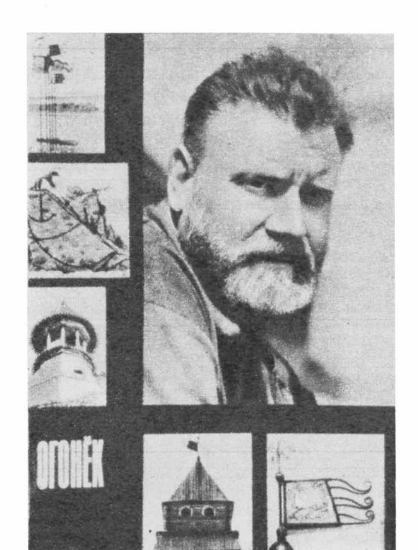
Разумеется, не один Смирнов— много организаций, ученых, художников и архитекторов восстанавливали псковскую старину. Только не обо всех можно сказать, как о Всеволоде Петровиче, что в каждый псковский памятник вложена частичка его поисков, находок и расчетов. И не только в Пскове: и в соседнем древнем Изборске и в соседних Печорах.

— Больше всего меня поражает у древнепсковских строителей их искусство сливать строение с природой, или, как мы теперь говорим, привязывать здание к ландшафту. Вот уж умели люди выбирать место и украшать своими творениями мир — лучше невозможно!

Так сказал однажды Всеволод Петрович и разложил на столе листы акварели. Белые стены прятались в осенней, всеми красками горящей листве, земля, небо и ветер жили отраженно в озерной воде. Я не знаток рисунка, не искусствовед, мне просто немедленно захотелось повесить эту акварель у себя над столом. «Чья это работа?» — спросила я. «Моя. А что, нравится? Я и сам удивился: как это у меня получилось, хотя акварельный рисунок еще в академии любил».

Откуда у него бралось время? Наверное, оттого, что так открылись ему краски, было не до сна. Он писал псковскую природу акварелью и маслом, писал летние пейзажи и зимние, пашню и воду, город и деревню. Была его персональная выставка, смотрели ее любители живописи в нескольких городах, нравился людям древний Псков, необычность рисунка, яркий и чистый, как на старых северных полотнах, праздник красок.

На первой странице обложки: художник-кузнец Всеволод Петрович Смирнов, автор реставрации стен и башен Псковского кремля (Крома), совместно с архитектором М. И. Семеновым. В. Смирновым выполнены все ковочные работы. Некоторые из них показаны на обложке (сверху вниз): прапоры к мемориалу-памятнику Александру Невскому. Фрагмент памятника на острове Залета. Медный Флюгер на Западной башне Крома. Прапор с барсом. Кованый прапор «Барс» с медной чеканкой.



А Смирнов тем временем вооружился деревянными молотками разных калибров и вычеканил на меди барса, как указано в исторических книгах и нарисовано на старых картинах,— с поднятой лапой. Такой у отважного Пскова был герб. Флюгер с барсом Смирнова теперь украшает шатер надвратной Власьевской башни кремля. И еще разные чеканки работы Всеволода Петровича украшают Псков изнутри и снаружи.

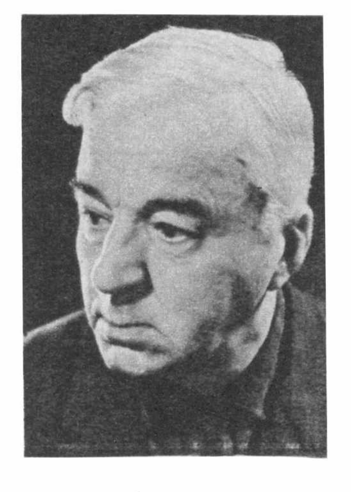
Старинная местная прикладная ковка ему нравилась — обручи, решетки оконные, светцы и подсвечники. Однажды он показал музейный подсвечник старым кузнецам, что давно работают в художественно - реставрационной мастерской: «Можно такой сковать?» «А и подавно можно»,— ответили деды, раздули горн, схватились за молоты. Били по раскаленной железке, поворачивали ее, клещами зажатую, так и этак. Сковали подсвечник легко и просто, точно такой, как тот, старинный. И Всеволод Петрович, уже давно понявший, что в дедах особый талант скрыт,— недаром же от других работ отказавшись, пришли они в реставрационную мастерскую,— почувствовал особую связь времен. Наверное, и те, древние кузнецы вот так же легко делали из железа красоту. И сам он быстро встал к наковальне, примерился, ударил и обрадовался, почуяв податливость железа. Так возродилось в Пскове искусство русской художественной ковки — тоже свое, к другим за опытом не ходившее и потому на другие примеры не похожее.

Крепко вцепился Псков в Смирнова. А чтобы не отпустить его от себя, подбирает и подбирает к нему разные ключики: то древние сказания, то старые чертежи крепостных стен, то работу давно отковавших кузнецов, а чаще всего дивит Всеволода Петровича своей вековечной, неотразимой красой. Всеволод Петрович не противится псковским призывам, откликается на них талантливо и щедро. Взаимна любовь города и художника, и им от такой любви творческое счастье, а тем, кто умеет и хочет любить искусство псковское, русское,— тем творческая радость видеть.



Николай СИДОРЕНКО

ОСЕННИЙ ПОЕЗД



* * *

Овражками
Сошел к воде туман,
Рассеялся
На поймах отдаленных.
Земля в убранстве
Озимей зеленых,
И синевы,
И золотых полян.

Дышать бы всласть
Мне осенью такой,
В погожий день
Забыть о многолюдье.
Но до сих пор
Еще гремят орудья,
И совестью
Владеет непокой.

За годом год
Я убивал войну
И знаю цену
Встречам и утратам.
Пусть позовут —
И стану вновь солдатом,
Чтоб жизнь спасти,
Спасти хотя б одну!

Не привыкать,
Как бьет шрапнель, свистя,
Как другу
Перевязывают рану.
Я женщину
Из пламени достану,
Прикрою грудью
Малое дитя.

Я покажу
Бездомным лебедям
Небесный путь
К родимым пепелищам.
Не так ли мы
Порог отцовский ищем
В лихой беде —
И с горем пополам?

Лес в золоте
И кое-где багрян.
Играет солнце
В елочках зеленых...
Заступница
Бездольных, угнетенных,
Моя земля —
Сестра печальных стран.

ПРИМОРСКИЙ ГОРОДОК

Качая огни над водою,
Машиной дыша тяжело,
От темного длинного мола
Последнее судно ушло.

Дремал городок и не видел
В простор уходящих огней.
Привык он к романтике моря
И просто не думал о ней.

Наверное, так привыкают
В земной деловой суете
И к нежным ладоням любимой
И к юношеской мечте.

А сердце не хочет мириться.
И чем ты поможешь ему?..
Огни уплывают, качаясь,
И пену несет за корму.

И вяжут из пены дорожку
Латунные спицы луны.
У кромки воды остывают
Нагретые днем валуны.

КАНУН ЗИМЫ

Белесым пологом летучим
Снег колыхался в поздней мгле.
Но снега не хватило тучам,
И нету снега на земле.

И снова осени в угоду
С рассвета мелко моросит,
Как будто просевают воду
Сквозь донышки несчетных сит.

Мне никуда спешить не надо
И некого перегонять.
Полей затишью сердце радо,
И это так легко понять.

Мы часто в городе шумливом,
Где места нет ночной росе,
Где негде притулиться ивам,
Живем, как белка в колесе.

И жизнь тогда обдумать трудно —
С родной землей наедине,
И не поют ключи подспудно,
По-детски доверяясь мне.

А тут — смотри! — какие шири
До горизонта пролегли...
Как жить, когда б исчезло в мире
Доброжелательство земли?

Пусть даже осени в угоду
Все моросит и моросит,
Как будто просевают воду
Сквозь донышки несчетных сит.

Идет, идет дорога полем,
И нет конца... и нет конца.
Зачем порою мы неволим
Свои и души и сердца?

ОСЕННИЙ ПОЕЗД

Надо ж было случиться,
Чтоб в поезде
Я узнал поворот головы...
В нашей давней
Лирической повести
Не хватало последней главы.

Ты сидела,
Такая сторонняя,
Будто вовсе не знала меня,
Будто не было
Грая вороньего
И зеленого нашего дня.

Но ведь было же,
Было же, было же!
Ты любовь мне открыла сама.
Хоть травинку
Из памяти выложи:
Может быть, пощадила зима.

Я искал так упрямо,
Неистово,
Но молчали земля и вода,
Онемели
Перроны и пристани.
Ни строки. Ни слезы. Ни следа.

Ты взглянула
Ни старо, ни молодо,
Будто свет отрешенного дня.
Так из мглы
Потускневшего золота
В детстве ангел смотрел на меня.

Встала,
Взяв чемоданчик поношенный,
Чуть кивнула — и молча к двери.
Я остался,
Чужой и непрошеный.
Ну, хоть что-нибудь проговори!

Сквозняком потянуло вдруг
В поезде.
За окном бесконечные рвы...
Видно, легче живется нам
В повести,
Если нету последней главы.

ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА

Подернут дымкою скользящей
Зарей не тронутый зенит,
А лес — на просеках и в чаще —
Насвистывает и звенит.

Наполнен радостною верой,
Он ожиданием согрет:
Вот-вот растает сумрак серый,
Взойдет заря и хлынет свет!

И лес поет взахлеб, со страстью
От маковок и до корней.
Он зелен, свеж, он верит в счастье,
В удачу всей судьбы своей.

Неплохо зимовать на юге,
Но лишь в родном березняке
На материнском языке
С такой душой поют пичуги.

Из книги «Метели и лебеди».

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС



ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА

17

Поселили Казимира и Джона в небольшом особняке и весь следующий день предоставили для отдыха.

Утром Джон со скучным выражением лица пересчитал оставшиеся марки, отделил себе пятьдесят, отдал остальные Лидумсу и сказал:

— Прогуляюсь.

Лидумс благородно умолчал о минденской прогулке. От двери Джон спросил:

— А чем займетесь вы?

— Порисую.

— Но у вас даже этюдника нет!

— А зачем? Посижу у окна. Видите, за окном прекрасная готика.

Джон выглянул из окна: крыши зданий стрельчатыми уступами поднимались одна над другой, похожие на застывшие музыкальные ноты. Еще дальше виднелись особняки, и гребни их сменяли один другой, как морские застывшие волны. Он удивленно взглянул на Лидумса.

— А ведь вы правы! У вас глаз настоящего художника!

— Я и есть настоящий художник! — довольно мрачно сказал Лидумс.

— Не сердитесь! — попросил Джон. — Я уверен, что вы еще пригласите меня на выставку!

— Боюсь, что до этого пройдет еще много объявленных, а еще больше необъявленных войн!

Джон поторопился улизнуть от мрачного разговора. Лидумс занял место у окна, разложил краски, листы бумаги. В его распоряжении были только гуашь, лак, темпера.

Заперев дверь, он принялся за рисунок. Но рисовал совсем не то, что было за окном. На небольшом, размером в открытку, куске ватмана он набрасывал лица вчерашних хозяев. Мелкие чины, вроде Эала или мрачного майора, не интересовали его. Он восстанавливал облик таких «деятелей», как полковник Росс, Главный, и еще троих штатских, имена которых мог только предположить. Эти портреты он делал тщательно, отчетливо, разбросав в разных местах листа, в разных положениях. Некоторые повторил еще раз, а затем покрыл весь лист лаком и принялся писать на нем пейзаж.

Отложив рисунок сушиться, Лидумс взял большой альбомный лист бумаги и снова принялся писать пейзаж. Теперь он был внимательнее. Тут он действительно вкладывал всего себя. Когда вернулся Джон, его подопечный сидел в глубоком кресле и курил, а напротив, на сиденье стула, прислоненная к спинке, стояла картина.

— Боже! — воскликнул Джон. — Да это же отлично!

— Вам нравится? — устало спросил художник, не меняя позы.

— Конечно же! Я, признаться, боялся, что вы намажете краску слой на слой, а потом будете говорить, что вы так видите мир! Но я рад, что ошибся в своих предположениях! Признаться вам, я до сих пор не выношу этих снобов от искусства, которые не умеют провести правильную линию, а рассуждают о свободе чувств мастера!

— Я очень рад, милый Джон, что вам понравилась моя мазня.

— Добрый бог, какая же это мазня? Это так близко старому духу доброй Англии, которая до сих пор без ума от пейзажей Тернера, что не могу найти слов...

— И не надо лишних слов! — Лидумс встал. — Я прошу вас, милый Джон, принять в подарок от меня этот небольшой пейзаж! Пусть он напоминает вам наше маленькое путешествие, пусть напоминает о скромном художнике, которому очень хочется, чтобы вы хоть изредка вспоминали его, когда он уйдет снова в «небытие».

— Казимир! Такую работу! Что вы делаете? Она же стоит сотни фунтов! Ну, хорошо, вы не хотите продавать, но тогда оставьте ее себе!

— Оставить? — Лидумс грустно усмехнулся. — А что я скажу, если нечаянно попаду в Чека? Что я рисовал по вдохновению? Да и не в этом дело: я задумал эту

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—47.

работу как подарок вам! А для себя я оставил маленький набросок, о котором всегда могу сказать, что он перерисован с почтовой открытки... — и подал Джону первый набросок пейзажа.— Этот набросок я могу оставить себе на память о вас и о всех моих друзьях, благодаря которым я увидел свободный мир! А понравившаяся вам работа и делалась для вас, вот доказательство!

Он повернул лист обратной стороной. Там, в нижнем углу, была дарственная надпись: «Милому мистеру Джону от безвестного художника Казимира...». Надпись залакирована, чтобы не стерлась легкая гуашь, ниже были дата, число, место работы... Джон молча пожал руку художника.

— Вы не обидитесь, если следующую мою работу,— разумеется, если увижу что-то значительное,— я подарю кому-нибудь из ваших коллег, например, мистеру Маккибину? Скотту? Или Норе?

— Что вы, что вы, Казимир! Я буду счастлив когда-нибудь сказать, что у меня есть ваша работа! Я убежден, что вы еще станете художником с мировым именем!

— Увы,— грустно заметил Лидумс,— для этого прежде всего нужен мир на земле!

— Мир будет!— воодушевился Джон.

— Да, но сколько перед ним будет войн?

— Пс-с! Оставьте ваш пессимизм мистеру Россу и его начальству! Мы всегда были прагматиками и не позволим его величеству войне уничтожить наш уютный и спокойный мир! А они как хотят!

— Уж будто вы можете разделить мир на четвертинки!— невольно рассмеялся Лидумс.

— Но мы знаем, до какой черты можно идти и где необходимо остановиться. А если мы остановимся,— поверьте мне,— ни господин Росс, ни его начальник не посмеют переступить эту черту.

— Что-то этой взаимозависимости не было видно ни в корейской войне, ни во время других событий! — уже с насмешкой ответил Лидумс.— И вы и американцы отступали вместе, а начинают всегда они!

— А, бросим политику! Мы только исполнители! Но, клянусь, мы все-таки больше предпочитаем мир, нежели войну. А я принес — как знал, что вы подарите мне такую большую радость,— бутылку отличной водки!— И Джон достал из своего портфеля бутылку «Кристалла». Лидумс невольно подумал: а ведь меня опять проверяли! Теперь у местных эмигрантов!

Утром за ними заехал Эал.

Джон, как оказалось, и не подозревавший, что «мистер Казимир» решил испытать на себе методы обучения, принятые американцами, выбранил его, а потом заявил, что у него есть дела поважнее, и отказался от поездки на учебную базу, договорившись, что будет время от времени справляться, не смертельно ли надоело «мистеру Казимиру» быть подопытным животным. На этом они и расстались. Лидумс поехал с Эалом.

Но перед отъездом Лидумс написал на оборотной стороне своей рисованной открытки адрес любимой женщины, живущей в Дании, и попросил мистера Джона наклеить на открытку марки и швырнуть в почтовый ящик. Сам он написал только: «Еще жив. Люблю. Целую». И ее адрес.

— Почему бы вам не написать и свой адрес?— поинтересовался Джон.

— Подполье давно уже научило нас не оставлять своих адресов,— с некоторой меланхолией ответил Лидумс.— Моя Марта знает, что я остался на той стороне границы. Теперь она узнает, что я вырвался оттуда. А позже, когда позволят обстоятельства, я сам навещу ее. Всякая другая возможность нежелательна. А пока она будет знать, что я уже в Мюнхене. Значит, недалек тот день, когда мы встретимся с нею...

— А если она вышла замуж?— поинтересовался Джон.

— Письмо получат родители и в этом случае, естественно, не отдадут ей.

— И вы не станете бороться за свою любовь?

— Чем не жертвует человек на благо родины?

На этом они расстались.

18

Странные люди со странными судьбами окружали теперь Лидумса.

Среди них были бывшие солдаты и офицеры «великой» германской армии, выходцы из прибалтийских республик, связавшие свою судьбу с фашизмом то ли из мести к Советам, то ли из чистого авантюризма, а иногда и так: был батраком, да вот мобилизовали, сделали полицейским, а потом пошло-поехало, пока все эти люди не докатились до лагерей для перемещенных в американской или английской зоне. Все это уже немолодые люди, и числились они «старшими» в шпионских группах.

Но были и совсем молодые, так сказать, второе поколение разрушенных войною семейств. Одни вывезены немцами вместе со школами, другие попали в Германию с убежавшими родителями. Эти, в сущности, и выросли в лагерях для перемещенных. Они хорошо знали немецкий, «спикали» по-английски с американским акцентом, но и у них и у их родителей не было никаких надежд на будущее, не было постоянной работы, и «ами» пользовались этой беспросветной нуждой и отсутствием какой бы то ни было перспективы на будущее, терроризовали их в лагерях, оставляя один лишь выход — в шпионскую школу... Так создавались «кадры» самоубийц,— ведь каждому из них в свое время выдавали ампулу с цианистым калием, словно бы заявляли: жизнь ваша короче воробьиного хвоста, но ничего, злее будете!

И эти люди собирались «освобождать» его родину!

Он невольно вспоминал собственную судьбу.

Да, его отца тоже экспроприировали. Он был довольно видным судовладельцем и, казалось, мог бы уйти из Риги на одном из своих собственных судов вместе с семьей, но он не сделал этого. С некоторым любопытством принял предложение новых властей возглавить отдел в управлении порта, ведавший экспортно-импортными операциями, потеснился в своем доме, приняв сразу две семьи «подвальных» жителей, без сопротивления сдал автомашину,— молодому государству она была, несомненно, нужнее, с интересом присматривался к разделу помещичьих земель и даже довольно добродушно отмечал, что лица крестьян, приезжающих на рынок в Ригу, стали веселее и даже несколько важнее, чем прежде. А когда к нему начали наведываться айзсарги, пытавшиеся сколотить новое подполье, резко ответил, что не интересуется политикой...

Вот этого айзсарги ему и не простили. В день входа немцев в Ригу отец Лидумса был застрелен прямо на улице.

Лидумс окончил университет перед самой войной. Сначала он побаивался, что его отчислят как «буржуйского сынка». Но никто его не отчислял, и после сдачи последних экзаменов он женился на любимой девушке. Была профессия, семья... И все это разрушила война...

Он помнил наставления отца. И когда некоторые из недавних его однокашников, сколачивавшие добровольческий легион для услужения немцам, явились к нему, просто выставил их вон. Ему тоже отомстили: лишили работы в самое тяжкое время оккупации.

Беда не приходит одна: жена умерла вскоре после родов, оставив ему девочку...

Вечером, когда покойницу уже доставили в кладбищенскую часовню, он вдруг вспомнил, что не выполнил последнюю ее волю. Она попросила снять обручальное кольцо с руки, чтобы у маленькой Аниты было молоко хоть на первое время. Утром в часовню войдут служки, и кольцо исчезнет.

На улицах уже слышался стук подкованных сапог: наступил комендантский час, патрули обходили улицы. Лидумс осторожно вышел из дома и пошел, прижимаясь к стенам домов, в сторону кладбища.

Старые, расхлябанные двери часовни были закрыты слабеньким английским замком. Лидумс раздвинул створки охотничьим ножом и вошел. В темноте он на ощупь отыскал гроб, снял крышку и нашел холодную руку...

Толстый немец-шуцман и уполномоченный квартала вывернулись из переулка прямо на него. Должно быть, они давно расслышали его шаги и притаились за углом, как охотники. Лидумс испытал такой прилив ненависти, что все движения его стали как бы автоматическими. Он не дал немцу выстрелить, сбив его с ног ударом кулака. Немец загремел автоматом, падая прямо в открытый бункер, через который засыпается уголь для отопления домов. Безоружный квартальный надзиратель бросился бежать, петляя, как заяц...

Утром по всему кварталу шла облава: искали «диверсантов».

От облавы Лидумс ушел: с карточкой докера он отправился в порт. Там у него были друзья.

Вечером, прямо из порта, переодетого Лидумса вывезли на грузовой машине в сторону Вентспилса. В лесу шофер по каким-то лишь ему понятным приметам определил место высадки: «Иди отсюда с полчаса прямо на восток, найди сухое место и переночуй. Дальше двигайся днем, если повезет, встретишь наших, не повезет — извини!» — и развел руками.

Партизан Лидумс встретил только на пятый день...

19

Партизанам в Латвии было трудно. За ними охотились не только немцы, но и айзсарги, возродившие свою террористическую организацию под крылышком у фашистов.

Группу партизан в курляндских лесах возглавлял Балодис.

Он был всего лишь на десять лет старше Лидумса (кстати, именно он и дал художнику Викторсу Вэтре этот псевдоним), но уже семь раз посидел в каторжной тюрьме бывшей республики: первый раз как активист-комсомолец, а в последний как один из организаторов и функционеров подпольной коммунистической партии — одним словом, год на свободе, год в тюрьме. В первый день создания Советской Латвии он был назначен начальником городского отдела госбезопасности в Вентспилсе и пришел в свой кабинет прямо из камеры каторжной тюрьмы.

После вступления немцев в Латвию Балодиса оставили для подпольной работы.

Лидумс провоевал с партизанами все лето сорок второго года. Осенью, когда немцев остановили под Сталинградом, Балодис предложил Лидумсу легализоваться в Риге. По его данным, квартальный уполномоченный, который мог повредить художнику, был расстрелян немцами еще летом «по обвинению в убийстве шуцмана», которого якобы сам столкнул в бункер.

Балодис приготовил документы о том, что художник Викторс Вэтра провел все лето у родственников на хуторе,— такой хутор был, и родственники были и могли подтвердить все сказанное в документах,— а теперь отправлялся в Ригу, чтобы поступить в военную школу, организованную оккупационными властями.

С такими документами, со своей собственной (не придуманной!) биографией Лидумс мог ехать не только в Ригу, но и в Берлин.

Балодис был дальновиден. Он без колебаний верил, что фашизм будет побежден. Но знал и другое: немцы готовят кадры для подпольной войны против Советской страны на тот случай, если их все-таки выгонят из Латвии, тогда снова возникнут «лесные братства», «лесные рыси», «лесные кошки»...

В военной школе Вэтра познакомился со многими будущими врагами. Был там и некий Чеверс, которого Лидумс взял в то время, когда сам исполнял роль командира отряда «лесных братьев» Были и дру-

гие, чьи портреты художник Вэтра, молодой воспитанник военной школы, писал в часы досуга, обязательно оставляя копию себе, о которой позирующий и не подозревал. При этом очень часто оказывалось, что копия сделана лучше, сильнее, чем сам портрет.

Вэтра окончил военную школу в тот год, когда за плечами советских армий был уже Сталинград, было освобождение Ленинграда от блокады, готовилась самая крупная битва механизированных войск, на Курском выступе. Он окончил школу с отличием, прослужил несколько месяцев в рижском гарнизоне, а перед отправкой добровольческих латышских легионов на фронт тяжело заболел. Тут опять помог Балодис.

— Этот год будет решающим в ходе войны! — уверенно сказал Балодис, навестивший Вэтру.— В будущем году можно ожидать битвы за Латвию. Сейчас вы должны уцелеть — это главное. И помните, вы должны уцелеть не просто как человек и мой помощник, но как художник! Ваше время еще настанет!

Лидумс продержался в гарнизоне до конца сентября 1944 года. В это время Балодис и его отряды были уже за линией фронта. Готовился штурм Риги. Лидумс не знал, как перейти линию фронта, чтобы разыскать своего друга. Немцы бросили в бой все свои резервы: айзсаргов, полицию, добровольческие легионы... В любой день могли отправить и роту Лидумса, пока что охранявшую порт и спокойствие эвакуируемых господ немцев. И в эти дни Балодис навестил его.

Под городом гремела канонада советских орудий, немцы расстреливали не только латышей, но и своих по обвинению в дезертирстве. А Балодис спокойно сидел в его комнате и советовал, что взять с собой. «Наденьте брезентовый костюм и сапоги, две пары шерстяного белья, возможно, ночевать придется в болоте, а вода стала дьявольски холодной. Из оружия возьмите два пистолета и нож,— я помню, у вас есть самораскрывающийся с роговой ручкой, она не скользит даже в мокрой руке. Бумаги, документы, рисунки упаковать в чемодан и спустить в подвал. Там, я помню, осталась гора шлака. Закопайте в эту кучу, она не станет гореть и в случае пожара. Что-нибудь да останется!»

У Балодиса оказался такой же ночной пропуск, какой был и у Лидумса. И у шофера машины, стоявшей внизу, был ночной пропуск.

Утром они были в Мадоне.



СТИХИ

НА СЕБЕ МЫ ТАЩИМ ПУШКУ

На поле минное — к реке,
Где берег в зарослях кипрея,
Помчались кони налегке
Из нашей третьей батареи.

Сиянье жаркое лилось
На луг, пестревший перед нами.
Мы стали звать их: «Кось-кось-кось!» —
Взволнованными голосами.

Услышали! И во всю прыть
Бегут к нам; мы уже готовы
За недоуздки их схватить.
Но нет: вдруг повернули снова.

С краюхой хлеба ездовой
Настойчиво, но безуспешно
Подманивал их, сам не свой...
Он только что их выпряг спешно.

И подогнал к кустам вдали,
Где зелень буйная кипела.
В траву родимые легли
И ну кататься ошалело!

Вскочили, отряхнулись вмиг,
Заржали, прославляя волю,
И вскачь пустились — напрямик
К засеянному смертью полю.

Блеск, пламя в дымовом столбе,
Взметнулась туча земляная...
Свой огневой рубеж меняя,
Мы пушку тащим на себе.

Перевел с еврейского
Р. МОРАН.

СТОГ В СНЕГУ

Тот зимний стог передо мной опять.
Луна. Сугробов ледяные склоны.
В единоборство нам пришлось вступать
Со жгучей стужей, северной, каленой.

Мы шли, мы шли сквозь льдистые снега...
Эх, не теплы солдатские привалы!
Постели расстилала нам пурга,
Над спящими протяжно причитала.

Но все ж судьба пока сменяла гнев
На милость, пощадить меня хотела.
И я, почти совсем окоченев,
Вставал с земли, насквозь окоченелой.

А тут нам счастье привалило вдруг:
Огромный стог предстал горой мохнатой.
И разобрали стог десятки рук,
Хотя бы клок оставили солдаты.

Мы знали: нет у нас пути назад,
Мы шли, сапог не гнулся тяжеленный,
Мы шли, на шее — мерзлый автомат,
Под мышкой — теплая охапка сена.

И только объявили нам привал,
Упали мы — кто на бок, кто на спину,
Свою охапку каждый подстилал, —
Клянусь, друзья, — ни дать ни взять — перина!

И вот, когда пришлось перечитать
Мой беглый стих, в ту пору сочиненный,
Тот зимний стог увидел я опять,
Луну, сугробов ледяные склоны.

20

В переполненном войсками, штабами, всевозможными вспомогательными службами городе человеку в штатском устроиться было бы невозможно, если бы не Балодис. Викторс Вэтра оценил предусмотрительность старшего товарища, у которого оказался ключ от привратницкой каморки в одном из домов на центральной улице Мадоны.

В тот же вечер Балодис представил Вэтру своему непосредственному начальнику — полковнику Голубеву, и Вэтра был зачислен переводчиком при отделе полковника. А наутро были соблюдены и остальные формальности: зачисление на довольствие, присвоение воинского звания,— и Балодис и Голубев торопились, а оставить художника на произвол судьбы в прифронтовом городе было просто опасно.

Балодис по обычаю кратко пояснил:

— Наши «друзья» — латышские националисты, включая айзсаргов, осколки либералов и демократов вместе с католиками — организовали в Курляндии «Латвийский Центральный Совет». Это бы и черт с ними, все равно немцы в Курляндии окружены, но сей ЛЦС связался с американской и английской разведками. Пока мы ведем бои, они стянули в Курляндию свои полицейские части и остатки добровольческого легиона. Таким образом, в этом слоеном пироге оказался кусочек буржуазной Латвии. И вот эти так называемые «национально мыслящие латыши» приглашают американцев и англичан высадиться в Курляндии и «вступить в игру». Ты представляешь, что это значит? Они пытаются рассорить союзников, тем более что господину Черчиллю и во сне снится отколоть прибалтийские республики от Советского Союза. Так что завтра или послезавтра я исчезну, не успев попрощаться с тобой.

— И ты отправишься в этот котел? Там же все кипит!

— Если мы не будем наблюдать за этой адской кухней, то кто знает, что в том котле сварят? Но тебя это не должно волновать, из всякой переделки можно выбраться. Да и времени у них мало. Через несколько дней мы возьмем Ригу, а там и до Курляндии рукой подать. Ты должен заниматься своим делом, только постарайся не очень показываться на людях,— у нас на тебя еще есть виды...

И Вэтра неуклонно соблюдал совет старшего друга, а тот исчез, как в воду канул.

Встретились они, как говорится, в шесть часов вечера после войны...

Аните было уже четыре года, сестра Вэтры по-прежнему воспитывала девочку, но теперь и отец был рядом. Вэтра преподавал, много писал и маслом и гуашью, выставлялся и уже начал забывать тяжкие дни войны. Но война напомнила о себе сама.

Однажды утром в квартиру Вэтры зашел Балодис. Был он все такой же оживленный, веселый, неунывающий. Немедленно влюбил в себя девочку, но, порезвившись с нею, неприметно кивнул Викторсу: надо, мол, поговорить,— и уединился с ним в мастерской. Там еще похвалил картины, посмотрел наброски, но Вэтра уже видел: этого большого и веселого человека что-то гнетет. И без обиняков спросил:

— Что-нибудь случилось, Август? И что ты теперь делаешь? Ты же еще ничего не сказал о себе.

— Я опять в Вентспилсе. А случилось то же самое, что было и вчера, и неделю назад, и почти каждый день после войны: в лесах стреляют...

Вэтра знал, что в лесах стреляют. После разгрома немцев в лесах осталось немало банд и отдельных дезертиров, они постепенно собирались воедино, и случалось, что такие объединенные шайки устраивали налеты не только на хутора, но и на поселки, убивая всех, кто попал под руку, казня советских активистов, коммунистов, представителей власти. На художника вдруг пахнуло порохом, он снова почувствовал себя Лидумсом.

— Мы только что разгромили несколько крупных банд,— устало продолжал Балодис.— Но главари ушли. А там, где есть главари, отребье всегда отыщется. Нужен человек, который сумел бы собрать всех этих главарей в одно место...

З. ТЕЛЕСИН

РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЛОСКОСТОПЬЕ

И все-то я хожу пешком, пешком.
Где справиться ногам с такой нагрузкой?
Ходил в походы с вещевым мешком,
С винтовкою — к Силезии от Курска.

Где не ступала ты, моя стопа?
В сугробах увязала, грязь месила.
Открытый шлях иль тайная тропа —
Шагал я всюду, часто через силу...

Был кратким отдых, выспаться не мог,
Бывало, в блиндаже вздремнешь немного,
И хоть порой и жалко было ног,
Опять вскочил и снова в путь-дорогу.

Я говорил своим ногам: — Идти!
Идти все время, позабыв усталость.
Что б ни случилось, мы пока в пути,
Шагать немало нам еще осталось.

И, хоть я далеко еще не дед
И в спорах с юными ломаю копья,
Заныли ноги вдруг. И ортопед
Мне пояснил, что это — плоскостопье.

Я не любил уют купе, кают,
Когда я был немного помоложе.
Не только ноги, говорят, сдают,
Изнашиваются колеса тоже.

Стираются копыта у коней,
И лапы львиные под старость слабы.
Но всем охота до скончанья дней
Шагать стопою, плоскою хотя бы...

Перевела Ю. НЕЙМАН.

РУКА

Будь я скульптором умелым,
Глины я б набрал в бадью,
Замесил и первым делом
Руку вылепил твою.

Так, чтоб здесь запечатлелись
В каждом пальце, хоть вчерне,
И особенность и прелесть,
Видимые только мне;

Чтоб была с живою схожей
Каждой жилочкой своей,
Так, чтоб даже пульс под кожей
Чуть ли не забился в ней.

И когда бы одиноко
Я дремал, задув огонь,
Я бы клал себе под щеку
Легкую твою ладонь.

Перевел Р. МОРАН.

ВСЕ РАВНО

С чего бы меду
Лучше дегтя быть,
Не в силах что-то
Я сообразить.
На вкус
Не спутаешь их —
это да,
Но уж липучи оба
Хоть куда!

Различия
Не будем трогать.
Но, если кто-нибудь
К нам пристает,
Нам все равно —
Пристал ли он, как деготь,
Иль, подольстясь,
Прилип, как мед.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА

У входа — старость. И ее
Я принял бы без жалоб,
Но не имею для нее
Всего, что надлежало б.

Во-первых, скажем, у меня
Нет палки той, с которой
Сживался я день ото дня,
Как с верною опорой.

А во-вторых, я, правда, сед —
Прискорбнейшая штука! —
И с виду я, быть может, дед,
Но у меня нет внука.

А то, что екает в груди
(Мне б умолчать при детях),
Когда я вижу впереди
Красотку,— вот вам в-третьих.

В-четвертых, не вступить же в строй
Старейших поколений,
Под мышкой не нося с собой
Собранья сочинений.

Итак, всем данным вопреки —
Само так вышло, право,—
Себя зачислить в старики
Я не имею права.

Перевел И. ГУРЕВИЧ.

— Ты думаешь, мне это удастся?— спокойно спросил Вэтра.

Балодис внимательно оглядел его. Вэтра выглядел атлетом. Даже трудные послевоенные дни не отразились на нем. Но на лице Балодиса появилась грустная усмешка.

— Жалко подставлять под пули такую светлую голову!— ответил он.— А так почему же,— ты бывший офицер немецкой армии, ты и твой отец пострадали от проклятых большевиков, ты знаешь три или четыре языка, и у этих «лесных рысей» не должно быть особых подозрений. Хотя кто знает? После этого разгрома они, кажется, уже и друг другу-то не верят. Во всяком случае, при приеме новых людей в банду они их проверяют и перепроверяют. Нашим людям среди них теперь очень нелегко!

— Я согласен!— быстро сказал Вэтра.

— Не спеши,— остановил его Балодис.— Очень может быть, что у тебя это только типичное стремление к романтике, а там, брат, все вокруг кровью пахнет.

— Ты понимаешь по-латышски? Я сказал: я согласен! И ты можешь понять еще одну вещь: я не рассчитался с ними за отца!

— Хорошо,— устало сказал Балодис.— Сходим со мной к одному нашему старому другу. Старый друг, как старый доктор,— всегда может что-то посоветовать...

Продолжение следует.

ЗА СТЕКЛОМ—ПОДВОДНЫЙ МИР

Всмотритесь в лицо мальчика на последней странице обложки. С каким вниманием и интересом наблюдает он подводный мир своего аквариума. Трудно оставаться равнодушным к многочисленным его обитателям.

Содержание аквариума — одно из самых интересных и увлекательных занятий. Оно не только доставляет радость и удовольствие, но и может кое-чему научить. Сейчас у многих в квартирах, в цехах фабрик, заводов, в санаториях и домах отдыха, во дворцах пионеров, в школах и клубах все чаще и чаще можно увидеть созданный и оборудованный заботливой рукой любителя кусочек подводного мира — аквариум.

Но вернемся к нашим иллюстрациям.

Вот пурпурные флаговые меченосцы. Рыбка-самец несет меч — удлиненный нижний луч хвостового плавника. Путем гибридизации любители вывели много новых цветовых форм меченосцев, относящихся к подсемейству живородящих карпозубых рыбок, которых в природных условиях не существует.

На другом фото мы видим чудесных лабиринтовых рыбок, относящихся к роду бетта,— пару петушков. Их родина — водоемы Внутренней Индии, Таиланда и Малаккского полуострова. Любопытная деталь: в Таиланде очень распространен необычный вид спорта — бои рыбок. Фотография показывает бойцовую стойку двух самцов-петушков.

Рыбка под названием лабиоза — несколько пугливая, но очень интересная обитательница многих наших аквариумов.

Барбусы суматранские — представители подсемейства усачей. Это рыбка стайная, очень красивая. Заметим, что в наших аквариумах содержится около 50 видов барбусов улучшенных селекционерами пород.

Наиболее популярными у любителей аквариума давно стали рыбки под названием гуппи, из рода лебистес. Гуппи распространены в водоемах Венесуэлы, Северной Бразилии, Гвианы, на островах Барбадос и Тринидад. Интересная подробность: аквариумисты серьезно вмешались в родословную гуппи. Например, в Московском городском клубе аквариумистов путем направленного скрещивания, строжайшего отбора заметно улучшили породу этого вида, создали 29 новых пород гуппи, да таких, которых в природных условиях вовсе нет. Всякий может в этом убедиться, если посетит ежегодно устраиваемую конкурсную выставку рыбок гуппи в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева (с 1 по 10 января 1970 года).

Астронотус водится в Амазонке, Риу-Гранде, в реках Парагвая. Эта рыбка — одна из самых крупных аквариумных обитательниц, в природных условиях она достигает 33 сантиметров. Астронотус — долгожитель среди рыбок: его век — 15 лет.

Родина рыбки нотобранхиус — мелкие, периодически пересыхающие водоемы Восточной и Центральной Африки. Отсюда и их особенность: рыбки мечут икру в грунт и в период засухи погибают, а икра во влажном грунте сохраняется, и с появлением воды из нее выводятся мальки — род рыбки продолжает существовать.

В природных условиях ученые и ихтиологи насчитывают более 20 тысяч видов, объединенных в класс рыб. В пресноводных и морских аквариумах люди содержат несколько сотен видов.

М. МИШИН

К. ОБОЛЕНСКИЙ

Фельетон

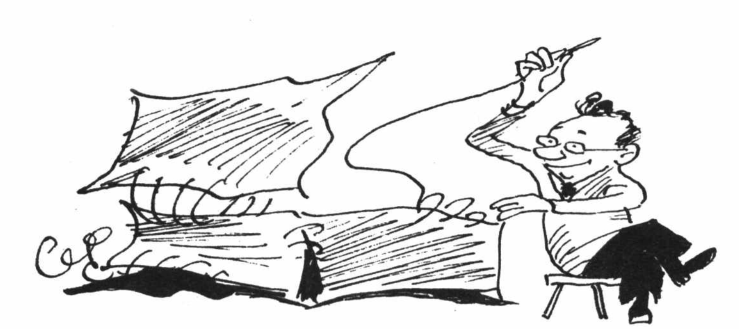
Рисунки Ю. Черепанова.



ТОВАР



ЛИЦОМ



Внешний вид его вызвал общий восторг. Присутствующие сгрудились возле стола директора, где на зеленом сукне красовался образец новой продукции завода. Представитель техотдела, лихо щелкнув крышкой, раскрыл футляр, и возгласы одобрения посыпались с новой силой.

— Только уж очень крикливая отделка,— робко заметила секретарь-машинистка, незаметно вошедшая с бумагами.

Но на нее зашикали все разом и даже слегка оттеснили от стола.

— Взгляните сами,— не сдавалась та,— на крышке — саржа цвета гнилой вишни, а на дне — плюш огненно-рыжий, как лисий хвост.

— Да в таком футляре,— замахал на нее руками сосед,— не грех бриллианты хранить.

— Но ведь это не шкатулка для бриллиантов,— в свою очередь, возмутилась строптивая машинистка.— Футляр для обычной бритвы-безопаски.

— Вот что,— сказал строгий голос.— Положите бумаги и можете идти... Ну, товарищи, значит, бритвочку запускаем в производство?..

Такой (или примерно такой) разговор мог, вероятно, состояться несколько лет тому назад на Калининском заводе металлоизделий, когда в промтоварных магазинах страны появились миниатюрные саркофаги с погребенными в них станками для безопасных бритв.

Одну из таких усыпальниц принес в редакцию возмущенный покупатель.

— Кому нужна такая безвкусица? — сетовал он.— Да вдобавок стоит два рубля восемьдесят. И заметьте при этом: только за футляр приходится платить восемь гривен. Это все равно что к стоимости коровы одну треть прибавлять за веревку. Да я сегодня ленинградскую безопаску видел. Так она с футляром всего шестьдесят одну копейку стоит. Вот и сравните.

Мы успокоили злосчастного обладателя бритвы, как могли, и он ушел, оставив нам на память саркофаг с дерматиновым покрытием и никелированными планками.

Вот тогда-то и пришло решение выяснить, как же вообще обстоит сейчас дело с упаковкой товаров. Нам была известна и обратная сторона медали — наплевательское отношение некоторых производственников к внешнему виду изделий.

— Имейте совесть! — взывали работники торговли.— Дайте нам показать товар лицом!

— Не в лице дело,— отмахивались поставщики.— Нам с лица не воду пить...

Спор принял настолько затяжной характер, что торгующие организации были вынуждены принимать экстренные меры. С 1 по 20 апреля 1967 года в демонстрационном зале ГУМа работала выставка-конференция, посвященная делу упаковки товаров народного потребления. Цель была одна: привлечь внимание производственников к такому «малозначительному» вопросу, как внешнее оформление.

«Милые, хорошие,— как бы говорили продавцы,— научились же вы выпускать добротные товары. Не ударьте лицом в грязь — займитесь упаковкой...»

За работников промышленности отвечали экспонаты стендов, где расположились уныло выглядевшие детища предприятий восемнадцати министерств. И ведь что поразительно — освобожденный от фирменной оболочки экспонат выглядел вполне респектабельно, а вот упакованный! Бр-р!..

Здесь были мятые коробки с обувью, на которых расплывалась смазанная маркировка, исполненная от руки. Красовались сигаретницы, зажигалки, пудреницы в блеклом оформлении, напоминающие собою пачки дешевых папирос, причем и первые, и вторые, и третьи упаковывались в коробку одного образца.

Хотелось поскорее пройти мимо поломанных целлофановых пакетов с мужскими сорочками и словно изжеванных коробок с головными уборами. И так от стенда к стенду...

Но, безусловно, пальму первенства заслужила скатерть с салфетками Калининского производственного объединения ценой в 14 руб. 54 коп., упакованная в типографские листы, на которых был напечатан рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг» (!!!).

Такое уж действительно нарочно не придумаешь. Поистине неисповедимы пути упаковки.

У работников промышленности выставка вызвала большой интерес. В числе ее посетителей было шесть человек в ранге заместителей министра, приходили представители фабрик, отраслевых министерств, министерств торговли и т. д. и т. п.

— Ну, теперь дело с мертвой точки наверняка сдвинется! — поздравляли друг друга устроители выставки.

— Помнишь, как возмущался товарищ А.? — вспоминал один.

— А товарищ Б. как негодовал? — вторил другой.— Прямо сказал: «Я этого так не оставлю!»

...И вот мы в ГУМе. Через два с половиной года.

— Пожалуй, с той поры так ничего и не изменилось,— вздохнул А. И. Тодрин, заведующий отделом галантерейных товаров. И, видимо, вспомнив печально знаменитый опыт калининцев с привлечением классиков к упаковке, добавил:

— Правда, больше ни «Бежин луг», ни тем более «Анну Каренину» предприятия для обертки не употребляют... Но вы посмотрите, как товары выглядят на прилавке,— и все станет ясно.

Перед нами портсигар — детище московского завода «Металлодеталь». Недорогой (1 руб. 40 коп.), но вполне приличный. Дерматиновое покрытие, анодированный алюминий, аккуратно вделанные резиночки... Но что за коробка, в которой он находится! Сплошное убожество!

Грязновато-серая бумага, размалеванная какими-то выцветшими кругами и полукружьями. Места сгибов прострочены, как на выкройке «Шей сама». Ну не хочется брать в руки такой товар!

А вот и пудреница того же завода. Коробочка здесь, правда, посветлее, но... Видимо, это та самая «анонимная» упаковка и для пудры и для папирос, что демонстрировалась на выставке. Сверху коробки шлепнуто: «Пудреница»; наискось (другим шрифтом): «Арт. МГ-108-809»; на обороте — дата выпуска и там же вверх ногами — «I сорт». Ну как преподнести любимой женщине такой подарок с разномастными и разноплановыми клише отделов «Металлодетали»?

Мода есть мода. Наши подруги жизни за последнее время стали охотно носить всякого рода украшения на цепочках, на висюльках и т. д.

Разумеется, кулон московского завода «Рекорд» (артикул МГ-108-465) даже отдаленно не напоминает подвески королевы Анны, и шкатулки, отделанной бархатом, для него не требуется. Но покоится он на смятом кусочке лощеной бумажки, где не особенно аккуратно пробиты три дырки. Неужели нельзя оформить красивее, элегантнее, чтобы кулон сам просился в руки, а ноги заставлял идти к кассе?

Упаковка — лицо товара. Не случайно торговые работники заявляют прямо: некоторые предметы ширпотреба не находят должного сбыта только из-за оформления. Плохая упаковка — и после путешествий по складам, базам и кладовым любая вещь теряет свой так называемый товарный вид.

Те же дамские сумочки должны паковаться в жесткие коробки, а предприятия норовят их спихнуть в бумажных. Сумки деформируются, мнутся... Кому они нужны в таком виде?

А наши обувные фабрики? В каких коробках отправляют они свой товар? Покупатель старается тут же от них избавиться. Не случайно возле обувных магазинов злосчастные дворники скрипя зубами целый день собирают рваный картон.

Казалось бы, уж с сувенирами-то надо обращаться по-человечески. Однако...

— Сколько времени воюем с заводом цветного литья,— говорит Я. Ф. Егоров, заведующий отделом сувениров ГУМа.— Никак не хотят упаковывать товар. Дают навалом или в бумажке.

Представитель торговли демонстрирует продукцию упрямого завода. Вот панно «Московский Кремль». Сделано со вкусом. Рассматриваем другой экспонат — «Народный мотив». Еще один сувенир, другой, третий. Выполнено все это с подлинным мастерством, а завернуто в нечто среднее между бумажным срывом и туалетной бумагой.

— Выставку упаковки организовывали, конференцию проводили, только воз и ныне там,— сетует заведующий отделом.— А ведь наши сувениры очень охотно покупают интуристы. За границу товар идет. Здесь вступает в дело не только экономический фактор...

Факторов действительно было предостаточно. Где-то на крупные суммы оседали товары. Где-то в массовом порядке снижали сортность. Где-то хороший товар из-за плохой упаковки вызывал усмешку. В чем же корень зла?

Когда на эту тему заходит разговор с работниками промышленности, немедленно находится куча отговорок: «Нам дают пресс-шпан не тех марок, что надо...», «Картон идет легко деформирующийся...», «Мы таким коробкам и сами не рады...»

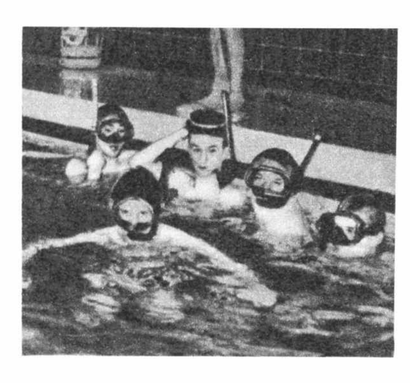
Только соль, видимо, не в том. Вероятно, «промышленники», выпускающие товары народного потребления, руководствуются столь же живучей, сколь и странной установкой: «Все равно купят!» К тому же для оправдания всегда остается лазейка. И довольно широкая.

В большинстве технических условий в разделах «упаковка» записано: «Изделия должны быть уложены в коробки». А какие они будут — серые или белые, жесткие или мягкие, красивые или безобразные,— никого не интересует. При утверждении образцов к художественному оформлению упаковки никто требований не предъявляет. Видимо, это то самое место, где надо «из болота тащить бегемота».

Думается, что в данном случае перед нами типичный пример двух крайностей, и обе они одинаково нехороши. Не нужны ни пышные футляры, оформленные с купеческим размахом, ни угрюмые коробки, навевающие грусть. Они должны быть недорогие, но радующие глаз, сработанные людьми, обладающими хорошим вкусом.

У нас научились выпускать продукцию на уровне мировых стандартов. Надо совсем немного, чтобы ей соответствовала и упаковка. Если она лицо товара, так пусть и улыбается покупателю.

ПЕСТРЫЕ СТРАНИЦЫ • ПЕСТРЫЕ СТРАНИЦЫ



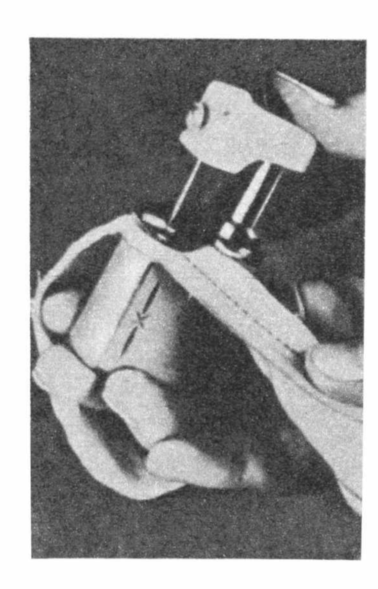
ПОДВОДНОЕ РЕГБИ

Во многих западноевропейских странах входит в моду новый вид спорта — игра в регби под водой. Спортсмены снабжены масками, дыхательными трубками и ластами.



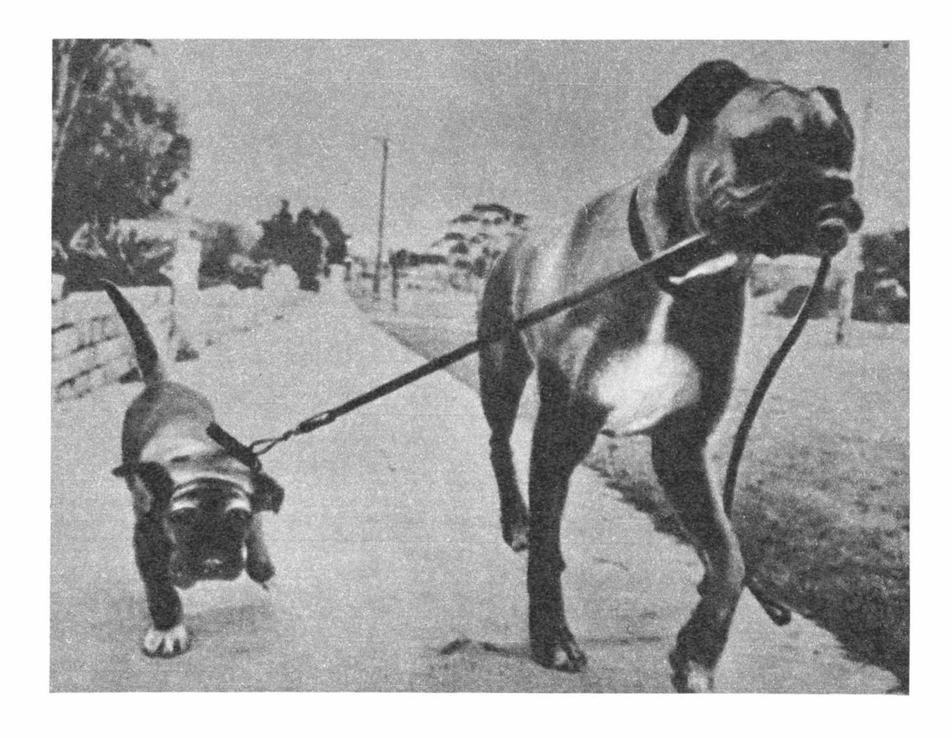
МИНИ-ТРАНСПОРТ

На улицах английских городов появилось много миниатюрных автомобилей. Конструкторы предсказывают им большое будущее в условиях перегруженности городских улиц.



КАРМАННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Японские мастера создали швейную машину, которая весит всего 40 граммов.



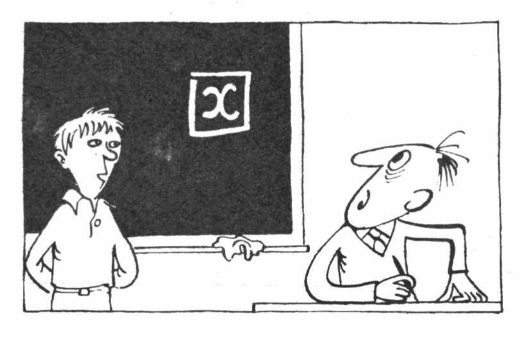
ЗАБОТЛИВАЯ МАМА

Эта собака честно выполняет свои материнские обязанности. Каждое утро она выводит на улицы Лондона своего малыша на прогулку.



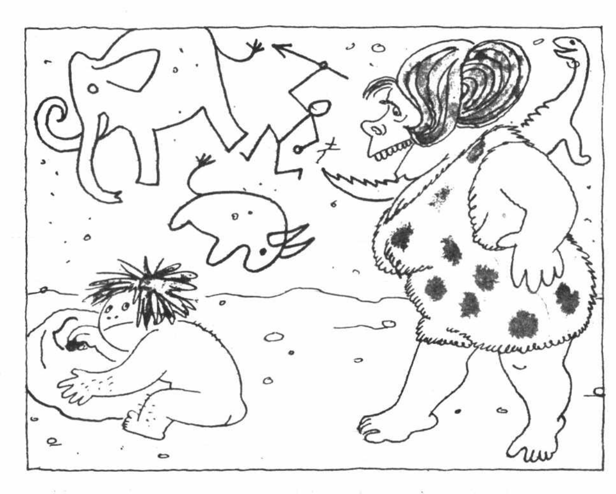
— Шестерых не повезу — не положено.

Рисунок В. Воеводина.



— Вы же просили написать икс в квадрате...

Рисунок Л. Немировского.



— Ты на чем рисуешь, троглодит паршивый? Тебе что, на стенках места мало?

Рисунок Е. Гурова.

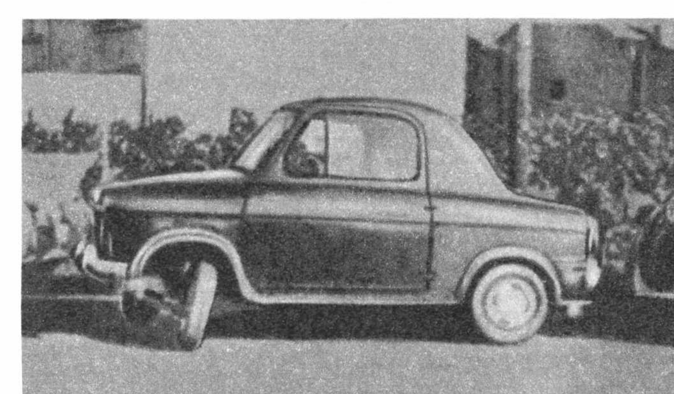


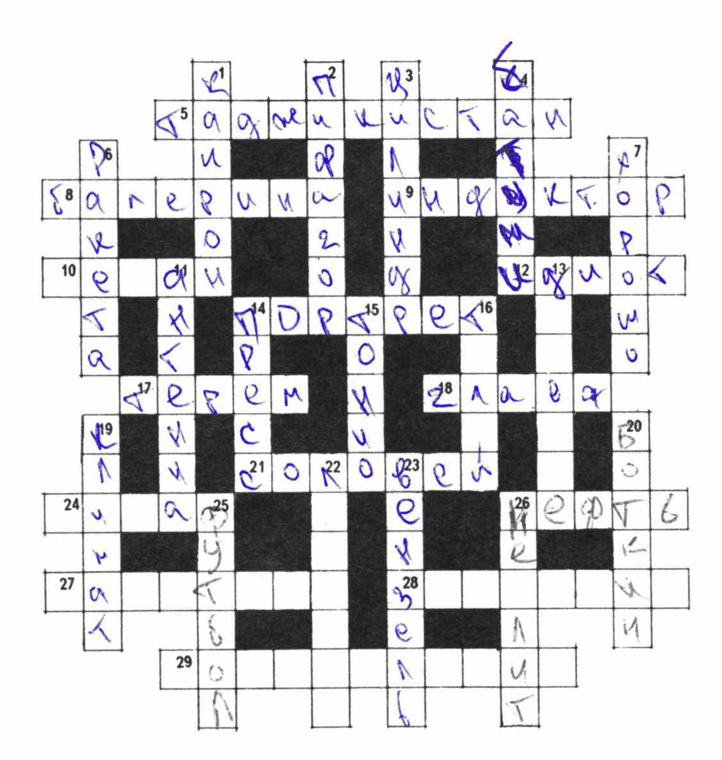
РАНЦЫ-СИГНАЛЫ

В ФРГ стали выпускать школьные заплечные ранцы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет и снабженные светящимися приспособлениями.

ВЫВЕРНУЛСЯ

Нелегко бывает выбраться из тесного ряда стоящих автомобилей. Француз Андре Рей удачно разрешил этот вопрос. Он переделал передний мост машины, и теперь колеса поворачиваются на 90°.





КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Союзная республика. 8. Танцовщица. 9. Электрическая машина с ручным приводом для получения переменного тока. 10. Река, впадающая в Курский залив. 12. Роман Ф. М. Достоевского. 14. Жанр изобразительного искусства. 17. Дом в Древней Руси. 18. Раздел книги, статьи. 21. Певчая птица. 24. Созвездие северного полушария неба. 26. Горючее. 27. Озеро в Канаде. 28. Старая русская мера веса. 29. Цветок.

По вертикали: 1. Синтетическое волокно. 2. Древнегреческий философ и математик. 3. Геометрическое тело. 4. Столица автономной советской республики. 6. Летательный аппарат. 7. Поэма В. Маяковского. 11. Часть радиоустановки. 13. Порт в Польше. 14. Машина для обработки материалов давлением. 15. Действующее лицо оперы Р. Леонкавалло «Паяцы». 16. Заяц-песчаник. 19. Метеорологические условия, свойственные данной местности. 20. Русский врач-терапевт XIX века. 22. Южный мыс Камчатки. 23. Инициалы, связанные в общий рисунок. 25. Спортивная игра. 26. Позднейшая эпоха каменного века.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 47

По горизонтали: 4. Верстовский. 7. Эстакада. 9. Интервал. 11. Карун. 14. Просека. 16. Аксинья. 17. Капелла. 18. Слобода. 19. Вакцина. 20. Шахматы. 23. Корица. 25. Картон. 26. Алдан. 28. Тарантас. 29. Еланская. 30. Кибернетика.

По вертикали: 1. Петрарка. 2. Контур. 3. Гипотеза. 5. Вакула. 6. «Кинжал». 8. Сизоворонка. 10. Аранжировка. 12. Мефодий. 13. Осокорь. 15. Пермь. 21. «Алмаст». 22. Тренер. 24. Анатомия. 25. Керамика. 27. Дюранс.

На первой странице обложки: Художник-кузнец Всеволод Петрович Смирнов (см. в номере репортаж «Взаимность»).

Фото Д. Ухтомского.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Н. Б. ПАСТУХОВ, Н. М. СЕРГОВАНЦЕВ, И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14.

Рукописи не возвращаются.

Оформление Л. ШУМАНА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — 253-38-61; Отделы: Репортажа и новостей — 253-37-61; Международный — 253-38-63; Искусств — 250-46-98; Литературы — 250-56-88; Очерка — 250-15-33; Библиографии — 253-38-26; Науки и техники — 253-37-52; Юмора — 253-39-05; Спорта — 253-32-67; Фото — 253-39-04; Оформления — 253-38-36; Писем — 253-36-28; Литературных приложений — 253-38-52, 253-32-45.

А 00450. Сдано в набор 11/XI-69 г. Подп. к печ. 25/XI-69 г. Формат бумаги 70 × 108[1]/₈. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Изд. № 2311. Тираж 2 100 000 экз. Заказ № 3095.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

В середине дня я добрался до Песков, что недалеко от Коломны, где живет и работает большую часть года неутомимый труженик, заслуженный деятель искусств РСФСР художник А. Н. Комаров. Он тонкий знаток бесконечно разнообразного животного мира, блестящий рисовальщик, чьи рисунки и акварели уже не одно десятилетие украшают многочисленные издания. Сколько ребят впервые познакомились с обитателями лесов, степей и гор по его иллюстрациям и картинам!

Папки с акварелями, альбомы набросков, на рабочем столе неоконченная композиция «Волки».

Алексею Никаноровичу недавно исполнилось девяносто лет, но он работает, как в молодые годы.

Смотрю рисунки, а он рассказывает:

— Люблю лошадей. И рисую их много. Это последний рисунок «Не затравили». В Москве на ВДНХ была открыта выставка моих работ...

— Скажите, ведь чтобы так хорошо знать зверей, птиц, их характер и повадки, немало пришлось путешествовать?

— Поездил на своем веку. Был на Урале, Алтае, в Средней Азии, на Кавказе, исходил все Подмосковье. А не так давно, лет этак пять назад, объехал с зоологической экспедицией пустыню Бет-Пак-Дала. Вот и альбом из тех краев...

Вышли из мастерской. Стали прощаться. В кустах притаилась деревянная цапля, на беседке замерла выпь, с террасы смотрела ушастая сова, на крыльце лежал большой каменный медведь...

И. МИХАЙЛИН



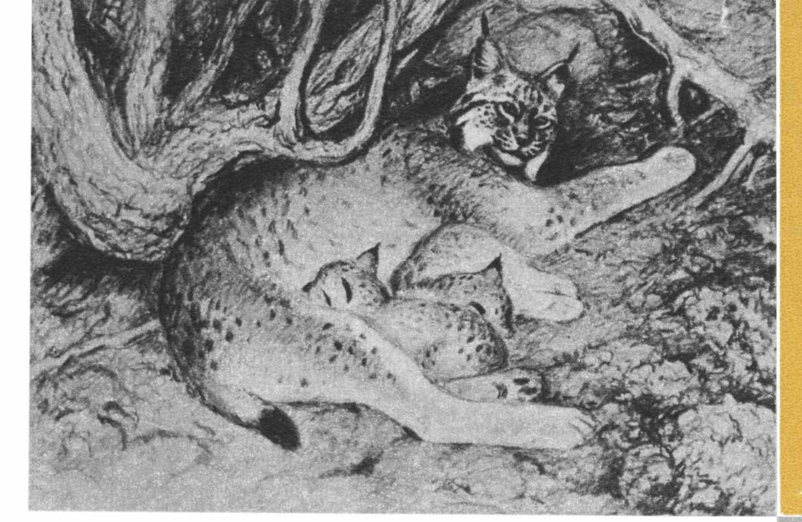
А. Н. Комаров.

Недалеко от Коломны

Не затравили.

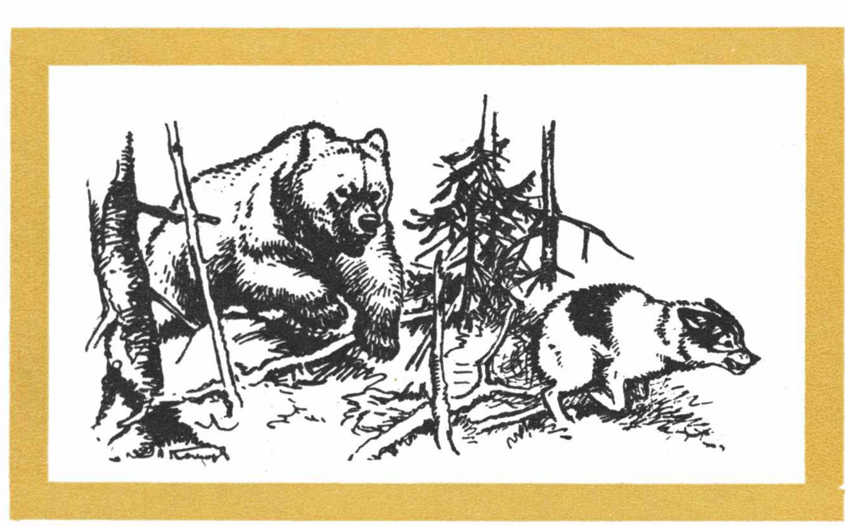


Мама-рысь.



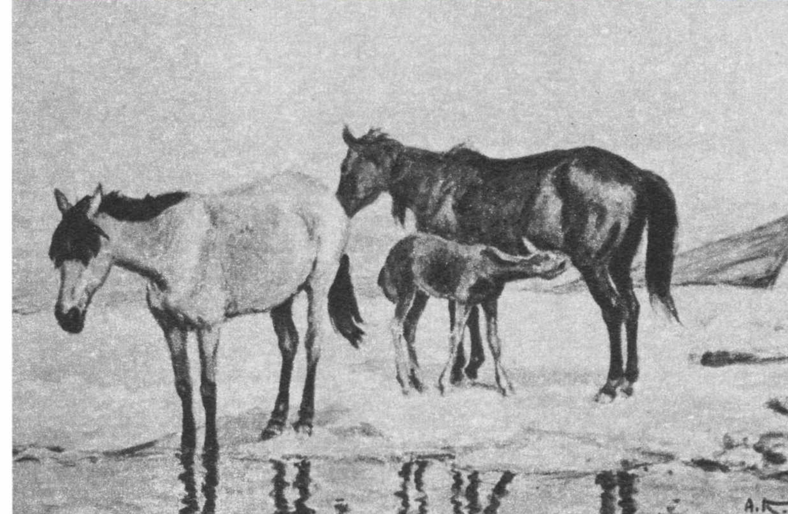


Сигнал опасности.





Потревожили.



Семья.

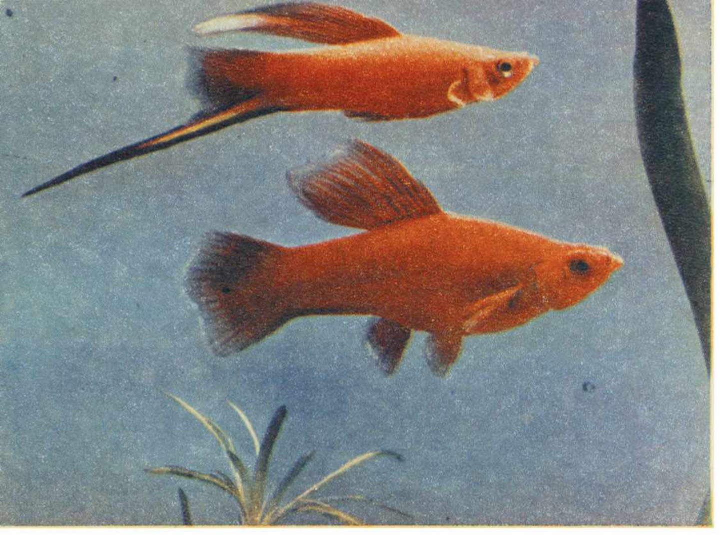
Цапля.



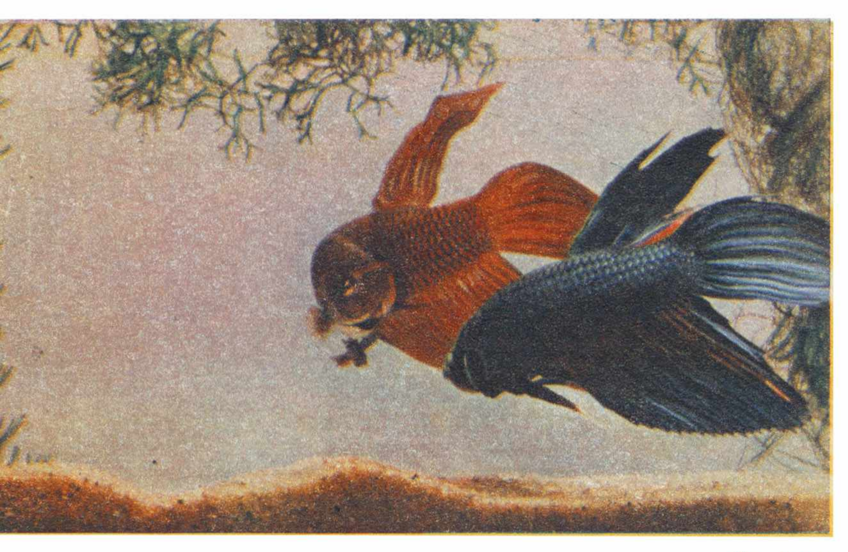
Ушел.

Волк.

Пятнистые олени.



Пурпурный флаговый меченосец.



Петушки.

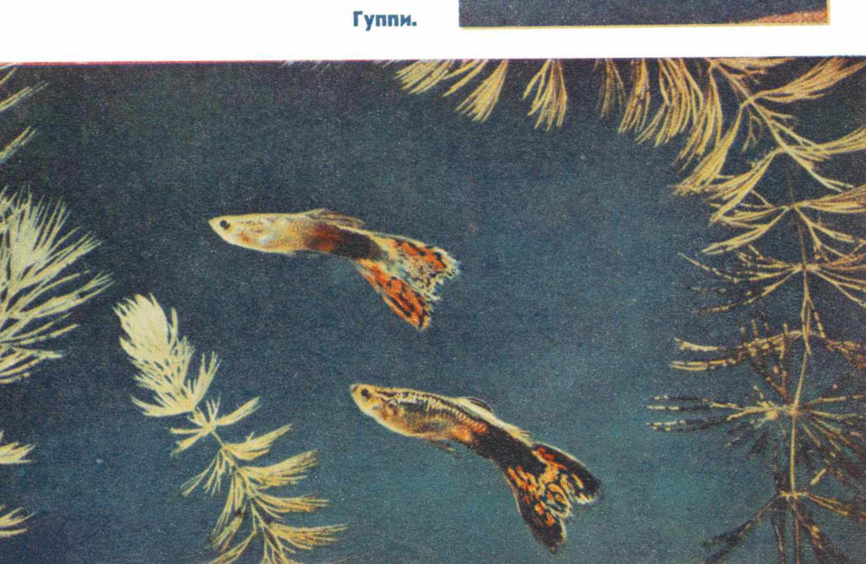


Лабиоза.

Барбусы суматранские.



Гуппи.







Астронотусы.

Нотобранхиус.



Фото Олега Неелова.

Цена номера 30 коп.
Индекс 70663.